

Николай Карамзин

Полный курс русской истории в одной книге

Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к отечеству есть действие ясного рассудка, а не слепая страсть.

Н. М. Карамзин

Летописец или историк?

В далекое дореволюционное время Николай Михайлович Карамзин считался отцом-основателем русской истории. Практически все учебники для детей и юношества строились на основе его многотомного труда «История государства Российского». Само собой, когда власть переменилась, переменилось и отношение к Карамзину. Его тут же ничтоже сумняшеся причислили к ортодоксам и реакционерам.

И напрасно. История, изложенная Карамзиным, — яркая, живописная, с патриотической подоплекой, — как нельзя более подходила государству, которое, хоть и

открещивалось от царизма и именовало тогдашний строй «тюрьмой народов», строило точно такую же, только более обширную «зону». Карамзинский патриотизм в той стране был очень даже к месту, если, конечно, правильным образом его интерпретировать. И, не упоминая имени имперского Нестора, наши отечественные историки лепили свои труды для детей и юношества, то есть для общеобразовательной системы, точно по лекалу Карамзина, только по-ленински правильно расставив акценты. Из этой новой расстановки тоже получалось, что Ярослав Мудрый был великим, пускай себе и княжеской породы. И русские тоже оказывались великим народом, как и предполагал в своем темном столетии Николай Михайлович.

Советская наука признавала даже заслуги Карамзина, не исключив его имени из учебников. Только вот его книги считались почему-то нежелательными для освоения школярами. Впервые они были изданы в советское время уже ближе к его концу, да и то в журнальном варианте. И сразу же стали настольным чтением для всякого рода ура-патриотов. Члены общества «Память», например, журнал «Москва» (в нем была напечатана карамзинская «История») зачитывали до дыр. Бедняга Карамзин! Он, конечно, был патриотом, и в его веке это вполне простительно, но вот почитания со стороны человеконенавистников

явно не предполагал. Так что, читая Николая Михайловича, нужно, прежде всего, делать скидку на время, набежавшее после первой публикации, и на особенности мышления этого человека.

Карамзина совершенно напрасно считают историком. Он был человеком просвещенным, с энциклопедическими знаниями, но специалистом-историком не был никогда. Карамзин был литератором. Но для того, чтобы понять, почему слава Карамзина-историка затмила славу Карамзина-писателя, почему его называли то первым русским историком, то последним русским летописцем, нам стоит обратиться к его человеческой судьбе, увидеть в нем не почившего классика, а человека из плоти и крови, который жил, любил и страдал, был счастлив и несчастлив, имел успехи и неудачи, достигал задуманного и совершал ошибки. Так мы сможем понять не только особенности его мышления, но и особенности той исторической правды, которую он пытался донести до своего читателя — дворянского читателя начала XIX века.

Читатель этот, заметим, был весьма своеобразен: он превосходно понимал по-французски и с большим трудом связывал русские слова в предложения. Родной язык виделся ему грубым и неотесанным. Если поэзия во времена Карамзина еще хоть кое-как переменялась в

лучшую сторону благодаря Державину, то отечественная проза была такой архаичной, что, и правда, лучше было читать французские романы в оригинале. Или немецкие. Или английские, хотя язык «туманного Альбиона» был в России не в ходу.

Писатель Карамзин взялся за перо в то злосчастное время, когда русской прозы практически не существовало. А исторические сочинения писались на таком русском языке, что через пару страниц утомленный читатель откладывал книгу в сторону, зевал, надевал на голову чепец и отправлялся в объятия Морфея. Научные исторические труды могли доставить радость и удовольствие разве что одержимому ученому, простой дворянский муж или тем более дама этой пытки не выносили. Для тогдашнего дворянина история ограничивалась историей его рода да памятными событиями, в которых принимали участие деды и отцы. Дальше вместо истории зияла черная яма. Нет, конечно, профессиональные историки, и большей частью заграничного происхождения, писали о России, но читателю эти писания были либо вовсе не интересны, либо трудны для восприятия.

Да, время было удивительное: существовала огромная страна, могучая российская Империя, а дворянское сословие с воодушевлением

пересказывало эпизоды из чужой западной истории, особенно римской. Но, стоило чуть отойти от благословенного родословия, все тут же начинали путаться в именах и событиях. Вся история, что происходила на территории России до Петра Великого, отсутствовала. Сначала Ломоносов, затем Татищев пытались восполнить этот пробел, срастить эпохи, однако читатель вряд ли понимал всю важность их изысканий. Простого и связного изложения событий русской древности, да еще чтобы картины запечатлевались в мозгу помимо воли, — такого исторического живописания не было. Если переводить коллизию на наши дни, то это все равно что заставить рядового человека читать на древнерусском языке «Повесть временных лет» или на другом мертвом — латыни — исторический труд, посвященный проблемам сфрагистики.

Теперь, думаю, понятно, почему образованное дворянское сословие истории своей страны не знало и знать не хотело. Французские, немецкие, английские романы и даже исторические труды были куда как приятнее для глаза и душевного удовлетворения. Русский мужик об отечественной истории вообще никакого представления не имел. Впрочем, Карамзин на его понимание и не рассчитывал. Не для крепостных крестьян задумывалась и писалась его «История». Но

удивительное дело: адресованная дворянам, она стала впоследствии учебником патриотизма для всех слоев населения. Прочли ее, пусть и в пересказах, и мужики.

Но довольно предисловий, обратимся, наконец, к личности нашего героя, Николая Михайловича Карамзина. По иронии судьбы, года своего рождения он не знал — так и умер, не выяснив даты начала собственной истории. Если требовалось, в графу «год рождения» он вносил 1765, хотя на самом деле родился в 1766 году (это выяснили уже те, кто изучал его биографию).

Предки Карамзина выводили свое родословие от татарского князька Кара-Мурзы, происходившего из Крыма, но перешедшего на русскую службу. Татарину, само собой, пришлось креститься, и от него-то и пошли русские православные дворяне Карамзины. Впрочем, потомки Кара-Мурзы были люди не слишком богатые. Батюшка историка, дослужившийся до капитана, был и вовсе незначительного достатка, хотя на благо Отечества живота своего не щадил. Но уголья и крепостные души у семьи все же имелись. Именно это умело организованное помещичье хозяйство обеспечивало семью Карамзиных.

Очевидно, что отец был строг к мужикам, но справедлив. Никаких помещичьих зверств в имени

не происходило. Это раннее впечатление от единения барина со своими крестьянами глубоко запало в душу Карамзина, он и в зрелом возрасте считал, что для поддержания мужика в достатке и душевном равновесии необходим прежде всего правильный хозяин. Попадет мужик в дурные руки — будет беда и для мужика, и для отечества. Попадет в руки к завязтому либералу, не желающему вникать в мужицкие проблемы, а только гнать его на волю, предоставив собственному мужицкому разумению, — будет беда похлеще.

У Карамзиных крестьяне были обихожены и сыты. Вопрос об их гражданских свободах будущему историку и в голову не приходил. Из детства он запомнил только приветливые лица мужиков.

В помещичьем доме и прошли ранние годы жизни Николая Михайловича. Это было обычное детство барчука из небогатых дворян: читать и писать его учил местный дьячок — обошлись без гувернеров-французов и элитных школ. Надо сказать, что это дворянское детство протекало на Волге, в местах действительно живописных. Карамзин навсегда полюбил русскую природу, медленные воды величавой реки, паруса рыбачьих лодок, кружащих над ними чаек, которых он именовал рыболовами. Эту особую любовь к

родине, которую, конечно, можно назвать патриотизмом, он вынес из детства. Она всегда была связана с первыми осмысленными впечатлениями от мира. Недаром, будучи уже вполне зрелым человеком, он признавался, что вид широкой и медленно текущей реки вызывает в его душе восторг до слез. Большие реки, которых он повидал потом немало, всегда напоминали ему родную Волгу.

Позднее это детское восприятие Родины расширилось и охватило все пространство империи, но изначально Родина заключалась для барчука Коленьки в этих волжских плёсах, в усадьбе, где он рос, в тенистых лесах, которые подступали к дому. Карамзин рос мальчиком впечатлительным и рано пристрастился к чтению. А читал он все, что попадало под руку, но особое пристрастие имел к романтическим историям. Особой любовью для него стал роман Сервантеса «Дон Кихот». Втайне он считал себя рыцарем печального образа.

В этом барчук не ошибся. Хотя его жизнь сложилась гораздо удачнее, чем у литературного героя. Но завет Дон Кихота бороться со злом и защищать добро Карамзин выполнял неукоснительно. Самое любопытное, что это ему удавалось без тяжелых последствий для себя (что совершенно не получалось у Дон Кихота). Рассказывали, что, когда царь решил расправиться с

молодым поэтом Пушкиным и загнать его в ссылку, он как бы между прочим проговорил вслух: «Куда бы его сослать?» Карамзин, человек уже известный и при царе не безмолвный, тут же посоветовал отправить Пушкина на юг. Так оно и случилось: вместо Нерчинска или какого иного нехорошего сибирского места Пушкин отправился на юг в армию Инзова, где, как всем известно из школьной программы, стал головной болью для всех военных начальников, то ухлестывая за красивыми дамочками, то сочиняя деловые отчеты в стихах. А не случись рядом Карамзина, где бы оказалось «солнце русской поэзии»? Подумать страшно! Но самое пикантное, что царь никогда не помянул историка злым словом за столь полезный совет.

Так что, ежели говорить о картонном мече и ветряных мельницах, Николай Михайлович отлично видел, как обезвредить зло, чтобы и добро не пострадало. Он ведь в том счастливом детстве читал не только романтические истории, но и вполне реальные «Истории» — Плутарха, например, из древних, или Роллена, составившего описание римской истории, из современников. Но романтическая жилка в юном возрасте была сильна и окрашена в православные тона: кроме светской литературы, читал он также и церковную. Так что, когда однажды произошел с ним опасный случай, завершившийся благополучно, то свое спасение он

отнес только на волю Божью.

А дело было так. По одним сведениям, летом барчук отправился почитать к любимому старому дубу. Книжка была увлекательной, так что немудрено, что Коленька зачитался. Опомнился он только тогда, когда в небе запылали молнии и ударил проливной дождь. Он, конечно, стремглав бросился к дому, но точно на его пути появился медведь, и этот зверь питал к барчуку нехорошие чувства. Мальчик окаменел от страха, он ожидал смерти. Но в тот момент, когда он уже полностью простился с земными радостями, полыхнула молния, грянул гром... и медведь стал обугленным куском мяса.

По другим сведениям, встреча с опасным зверем случилась во время прогулки барчука с его дядькой, но суть происшествия адекватна: медведь едва не бросился на мальчика, но пал, сраженный молнией. Как бы то ни было, Карамзин воспринял свое спасение как настоящее чудо: будто бы Бог охранил его от неминуемой смерти с помощью грома и молнии. И он продолжал свято верить до старости, что Господь уберег его от медвежьих лап именно потому, что предназначил ему особую миссию. Учитывая чтение Сервантеса и веру в Провидение, можно твердо сказать: судьба должна была получиться необычной.

Но ничего знаменательного не произошло ни

через год, ни через два. Разве что соседка по имени, Пушкина, стала привечать хорошенького мальчугана, учить его этикету и — как сильно опасался его отец — прельщать женскими прелестями. Дабы оградить чадо от соблазна, Николеньку отдали учиться в симбирскую гимназию, точнее в пансион, то есть вырвали мальчика из дворянского гнезда и посадили в пансионерскую клетку.

Учеником Карамзин оказался отменным. Он хорошо и отлично успевал практически по всем предметам. Успехи так вдохновили родителей мальчика, что они отправили его учиться в Москву, в пансион Шадена. Это было специфическое учебное заведение. Шаден был германофилом, и в его пансионе воспитывались отроки, суть которых Пушкин отобразил в своем Ленском таковыми словами: «всегда возвышенная речь и кудри черные до плеч». Впрочем, кроме повышенной чувствительности и чувства умиления прекрасным, Шаден дал своим воспитанникам и знания: пансионеры зубрили мертвые языки — греческий и латынь, осваивали философию и риторику.

Для большинства пансионеров умение красиво излагать свои мысли было всего лишь элементом обучения, но для юного Карамзина стало профессией. Батюшка желал видеть сына офицером, однако с этим у молодого человека

ничего дельного не получилось. Это Державин мог и стихи писать, и солдат вести в бой, а Карамзин оказался юношей совершенно штатским. Отслужив в гвардейском Преображенском полку несколько лет, он с радостью вышел в отставку.

Нельзя сказать, что военная слава не грела ему душу. Грела. В мечтах он побеждал врагов и совершал подвиги. Но оказалось, что служба вовсе не подвиги, а рутина. Кроме того, служба в столичном Петербурге пожирала огромное количество денег. Все-таки гвардейский полк, особые требования к внешнему виду. И этот гвардейский лоск требовал капиталовложений. Но небогатая семья обеспечить их не могла, и Карамзину пришлось полагаться только на собственные способности. А в чем он был способен? В изящном слоге. Так, по совету одного из друзей, офицер Карамзин стал заниматься переводами, благо языкам в пансионе его обучили неплохо. Ему даже удалось издать один такой переводной опус со страшным названием «Деревянная нога».

Может быть, юноша и дальше бы тянул военную лямку и пробавлялся переводами с немецкого, но тут умер отец. Для отставки смерть родителя считалась уважительной причиной, а в военной будущности молодой человек успел окончательно разочароваться.

Примерно с год он прожил в Симбирске, деля время между визитами, картами и разного рода переводами. Только теперь переводы его интересовали больше, и не только как средство заработка. Учтите, что это были 80-е годы XVIII века. Еще не родился Пушкин, а Жуковский еще не открыл русской публике переводных баллад и не сочинил романтических историй. Время для литературы совершенно дикое. Изящным в то время считался слог Михаила Ломоносова и поэтов Сумарокова и Тредиаковского. Так что даже «Деревянная нога» вполне могла считаться высоким искусством, а уж переводы из Эдварда Юнга — и вовсе предел совершенства.

В глухом Симбирске между картами и Юнгом Карамзин неожиданно открыл для себя Вильяма Шекспира. И был сражен. Наверно, ни один другой писатель после Сервантеса не оказал на молодого Карамзина такого влияния. Характеры героев шекспировских трагедий запали ему в душу. Именно у английского драматурга он научился так выстраивать повествование, чтобы читатели замирали в восторге и не могли оторваться от текста. Позже это ему очень пригодилось.

Пока же, покончив с делами, он подался в более веселую Москву. Тому были особые причины. Кроме Шекспира в симбирском захолустье Карамзин открыл для себя оплот

инакомыслия — московский журнал «Трутенъ», который издавал его тезка Николай Новиков.

Об этой поре жизни Карамзина злопыхатели говорят с ненавистью: он подался в масоны. Одни видят в этом масонском «обращении» зло, которое едва не сгубило талант юноши, другие благо, которое подвигло его углубиться в тайные недра истории. На самом деле не правы ни те ни другие. Масонство в Россию, где прежде ни о чем подобном не слыхивали, принесли бежавшие из Франции дворяне, перепуганные революцией. По сути, контрреволюционеры, избежавшие благодаря переезду на Восток гильотины. Но, по сравнению с русскими консерваторами, эти западные монархисты были невероятными вольнодумцами. Они по наивности полагали, что смогут внушить царям наиболее разумное государственное устройство и, как позже напишет Пушкин, «чувства добрые лирой пробуждать».

Увы, не одна лира сломалась, пытаюсь пробудить эти чувства, и ничего путного у пробудителей не вышло. Зато появились масонские кружки. В один из них, куда входили авторы и издатель «Трутня», попал и Карамзин. Масонские ложи в России, несмотря на тайные обряды и непонятные простым смертным символы, были всего лишь клубами по интересам. Очень скоро в них оказалось вовлечено все высшее дворянское

сословие.

Масонский кружок, к которому прибился Карамзин, был хотя бы интеллектуальным, то есть в него входили люди просвещенные и имеющие прямое отношение к литературе. Новиков был человеком талантливым и многосторонним. Для юного Карамзина он не мог не стать образцом для подражания. Ведь Новиков был на двадцать лет его старше, и в тот самый год, когда Карамзин появился на свет, молодой Новиков оказался по распоряжению Екатерины в комиссии, которая занималась составлением проекта нового Уложения, то есть с молодости был вовлечен в дела государственной важности. Правда, занимал он должность невысокую (вел протоколы), однако в указе императрицы о занятии, порученном Новикову, говорилось высоким слогом: «к держанию протокола определить особливых дворян с способностями».

Новиков оказался человеком с огромными способностями. Екатерина скоро обратила на него свое внимание. Ловкий царедворец использовал бы этот шанс для упрочения своего положения, но Новиков был мечтателем и максималистом: он хотел реального улучшения жизни людей — с ужасами тогдашней русской жизни он отлично ознакомился, работая в комиссиях. Он пытался предложить проекты переустройства государства,

которое пошло бы на пользу его жителям, но куда там! Разочаровавшись и в реформах «сверху», и в самой Екатерине, и в помещиках, и в государственных деятелях, он просто взял и подал в отставку.

Но кипучая энергия требовала выхода, и Новиков стал заниматься делом довольно безопасным (так он думал) — изданием журнала «Трутень». Однако, как оказалось, литературное поприще в России легко может стать поводом для ареста и суда. Журнал получился злым и ядовитым, и жалил он как раз тот общественный слой, который с пылом защищал орган императрицы журнал «Всякая всячина». Новиков рисовал картины чудовищной эксплуатации крестьян и ставил вопрос о скорейшем их освобождении из крепостной неволи. Официозный журнал Екатерины, разумеется, остро полемизировал с «Трутнем» и рисовал картины идиллического рабства. Вся русская печать разделилась на два лагеря: одни были за Новикова, другие — за императрицын журнальчик для светской публики. Последний сражение явно проигрывал. Так что новиковский «Трутень» Екатерина закрыла своим распоряжением.

Новиков не сдался. После «Трутня» он издавал «Живописца», «Кошелек», а также серьезные периодические издания —

«Санкт-Петербургские ведомости», «Утренний свет». В конце 70-х годов, устав от столичной жизни, он перебрался в более уютную и свободную Москву, подальше от двора. Здесь он получил в аренду университетскую типографию и стал издавать «Московские ведомости», снабдив скучное и провинциальное издание приложениями и добавив остроты в материалы. Одновременно у Новикова возник сильный интерес к русской истории, и он занялся сбором материалов, которые дошли до его столетия, — гражданских актов, договоров, летописей. Это историческое собрание получило наименование «Древняя российская вивлиофика».

Кроме того, Новиков занимался разными насущными проблемами страны, не будучи чиновником, — когда, например, разразился голод, он изыскал средства, чтобы помочь попавшим в беду людям. Но более всего его заботило развитие и просвещение общества, не дворянского общества, а людей простого звания — мещан и крестьян. Наверное, на этом интересе он близко сошелся в Москве с местными масонами — в отличие от столичных, которые Новикова зазывали не раз в свою среду, московские пришли к нему по душе: все они были люди умные, талантливые, желавшие счастья своей стране. К 1780 году Новиков прошел масонский обряд посвящения и обрел верных

друзей — И. Лопухина, С. Гамалея, И. Тургенева, И. Шварца, князей Трубецкого и Черкасского и даже одну женщину, принятую в масонскую ложу, — княгиню Трубецкую.

Примерно в это же время из провинциального Симбирска в Москву перебрался юный совсем Карамзин. Надо ли говорить, что он с огромным воодушевлением влился в эту хорошую московскую компанию. Так что на вопрос, вступил ли Карамзин в масонскую ложу, следует ответить утвердительно: да, вступил. Но остался ли Карамзин верен масонским идеалам? С этим все гораздо сложнее.

В юные годы будущий историк вполне разделял революционные идеалы, да и что дурного может быть в свободе, равенстве, братстве и просвещении народа? Пересмотреть свои взгляды его заставило другое. В пору самого расцвета масонских мечтаний Карамзин решил посмотреть мир. Он хотел видеть все доступные европейские страны, и большинство из них увидел. Никто не посылал Карамзина туда по служебной необходимости, никто не отправлял его для научных занятий — две причины, по которой русские той эпохи оказывались за границей. Не ехал он и для сугубо дворянского развлечения — поблистать в европейском свете. Молодой Карамзин просто желал увидеть, как выглядит мир

по ту сторону границы Российской империи. Он желал не читать о заграничной жизни в книгах и журналах, а составить собственное впечатление. Оценить, какие перемены там происходят.

Самые радикальные перемены происходили тогда во Франции. Это оттуда с ужасом бежали роялисты и туда же с восторгом стремились те, кто видел надежду и счастье в свободе, равенстве и братстве. Но то, что увидел в революционной Франции Карамзин, навсегда изменило его мировоззрение. Такой свободы, такого равенства и такого братства он не хотел видеть. Процесс создания правового государства Карамзин представлял несколько иначе — без отрубленных голов и ликующей черни, сбегаящейся поглазеть на очередную казнь. Да и посещение им «штаба революции», Конвента, тоже большого восторга не вызвало: в Конвенте ругались, выносили смертные приговоры, большинством голосов решали, кому жить, а кому умереть...

Не только русский путешественник, но и другие очевидцы той кровавой эпохи вспоминали скорее не победы освобожденных французов, а тот страх и трепет, который внушали им вооруженные отряды и толпы обезумевшей черни. Единственный человек, который запомнился Карамзину и которого он защищал даже тогда, когда его именовали не иначе как тираном, был Робеспьер.

Для Карамзина он навсегда остался Неподкупным. Для себя русский путешественник сделал такой вывод: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан, и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку... Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения губительны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот».

А масоны? Масоны, которые приняли деятельное участие в рождении революции, увидев первые ее кровавые плоды, постарались откреститься от своего детища. Они тоже не предполагали, на что способен освобожденный простолюдин. Так что, если Великая французская революция и была детищем масонов, то разве что бастардом, незаконнорожденным ребенком.

Карамзин сделал для себя еще один важный вывод: никакая свобода не может окупиться ценой пролитой крови. Ему еще предстояло пройти путями русской истории, тоже богатой кровавыми реками, и, по большому счету, эта русская кровь была пролита также напрасно, чего Карамзин не желал признавать, находя те или иные оправдания... Но это было уже много позже, в

зрелом возрасте. А тогда, путешествуя по Европе, он мог честно сказать словами Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». То, что он увидел, сделало способного юношу писателем.

Его первая серьезная книга называлась «Письма русского путешественника». Конечно, не стоит отождествлять рассказчика с самим Карамзиным, это все же герой литературный, но многое из того, что он увидел и услышал во время европейского турне, вошло в эту книгу. И многие мысли были созвучны с мыслями самого Николая Михайловича. Возвращение на родину виделось и герою «Писем», и самому Карамзину как возвращение из бурлящего котла революции в тихую и стабильную страну. Если до отъезда Карамзин находил в России одни лишь пороки, то после возвращения он уже точно знал местоположение всех возможных добродетелей.

Однако за время его путешествия в этом тихом болотном мирке многое переменилось. Напуганная революцией во Франции, Екатерина больше не желала выглядеть вольнодумицей, и в русском обществе начались гонения на свободу слова. К моменту возвращения из-за границы Карамзина за дело книгоиздания и просвещения пострадал уже известный нам Николай Новиков. Жандармский отряд явился к нему в имение и силой забрал больного издателя, наделав шума и

на смерть перепугав домочадцев: последние не отошли от этого шока до конца своих дней, обзаведясь нервными тиками и заиканием.

Удар Екатерины был направлен на московский масонский кружок, но пострадал за правду один только Новиков. Его осудили и заточили в Шлиссельбургскую крепость. Для Карамзина это тоже был наглядный урок: не только революция пожирает собственных детей — власть, данная Богом, этим тоже занимается регулярно.

Может быть, два этих совпавших по времени события и породили особую черту Карамзина-человека: он предпочитал не ссориться с сильными мира сего и свое приватное мнение держать при себе. С тех пор собственную частную жизнь он полностью отделил от общественной. Он много позволял себе в частных письмах и высказываниях, говорил нелюбезные слова и о власти имущих, но при дворе держал себя как хороший солдат — полностью соответствуя пожеланиям своего командира. Только в редкие минуты, когда высокое начальство изволило расслабиться и было способно не закусывать человечинкой, Карамзин позволял себе вольности — просил за обреченных или излагал разумные государственные идеи. Он понял природу власти. Он знал, как с ней следует управляться.

Что же касается юношеских светлых идей —

Карамзин порвал с масонами не только потому, что боялся последствий: он ясно увидел, куда приводят благие идеи, и к тому же понял еще одно: дела намного важнее слов, даже если эти дела выполнены с недочетами. А у масонского сообщества ничего, кроме пустопорожней болтовни, он не находил. Очевидно, в этом и была причина разрыва.

Впрочем, в некоторых статьях и книгах можно найти иное объяснение: Карамзин просто струсил. Но если бы это было именно так, он не написал бы оду в защиту шпигельбургского узника Николая Новикова — «К милости»! Удивительное дело: Екатерина, которая личным распоряжением упрягла вольнодумца в крепость, приблизила к себе его защитника, Николая Карамзина.

Но первоначально следствие сильно заинтересовалось мыслями оды. Вот тогда-то в следственном комитете по делу Новикова и родилась та идея, которую до сих пор повторяют все искатели конспирологических связей Карамзина: за границу последний поехал на деньги масонов, по поручению масонов и едва ли не с целью принять участие во французской революции, чтобы, обогатившись опытом свержения самодержавия, повторить эту штуку на собственной родине. Идея совершенно бредовая, но, как показало время, на редкость живучая. Масонские деньги и до сих

поминаются Карамзину его недоброжелателями.

Само собой, никаких масонских денег не было. Карамзин не имел привычки принимать деньги, которые не заработал. А представить себе молоденького русского дворянчика без связей в обществе, которого всерьез примут в Конвенте, — это просто немыслимо. Единственное, что роднило этого юношу с французскими революционерами, — его отношение к Богу. Карамзин в юности был деистом, чего не показывал, но и особо не скрывал. Деистом он остался и позже, но научился прятать свое неверие за общепринятой религиозностью. Для него свобода совести была сугубо частным делом. Такой вот он был человек.

Но вернемся к 1792 году. Усердные следователи вознамерились арестовать Карамзина и пустить его по Новиковскому делу. Однако будущий историк распознал возможную угрозу и попросту заперся на пару лет в деревне, где усердно работал над литературными произведениями, а потом вернулся в уже успокоенную Москву и посвятил себя все тем же литературным занятиям и светским мероприятиям. Пробовал он себя на ниве стихосложения, но, надо сказать, с этим у него получалось плохо. Карамзин не был поэтом, он сам (к счастью) понял это годам к тридцати.

С прозой дело обстояло лучше, хотя оказалось, что фантазии (в смысле,

художественного вымысла) он тоже лишен. Недаром в одном из писем он признавался: «Всеу есть время, и сцены переменяются. Когда цветы на лугах пафосских теряют для нас свежесть, мы перестаем летать зephyром и заключаемся в кабинете для философских мечтаний... Таким образом, скоро бедная муза моя или пойдет совсем в отставку, или... будет переключивать в стихи Кантову метафизику с Платоновой республикой». Разумеется, Кантова метафизика и Платонова республика, изложенные рифмованным стихом, в конце уходящего века выглядели бы более чем странно.

Проза Карамзина, его «Бедная Лиза» и «Наталья, боярская дочь», хотя и шли в струе современной ему словесности, дав новое течение тогдашнего времени — сентиментализм, все же не были полноценной литературой. Эти прозаические опыты дали идущим следом молодым литераторам ориентиры, но сами по себе высокой художественной ценности не представляли. Хотя, конечно, русская литература пребывала в том состоянии, что одно только владение изящным слогом возносило Карамзина на недостижимые вершины. Но сам он понимал, чего стоят его литературные опыты. На одном мелодраматическом эффекте с ненастоящими героями литература не делается. А русским

Шекспиром Карамзин стать не мог. И мало-помалу Николай Михайлович обратился к той отрасли русской словесности, которая практически в те времена отсутствовала.

В начале нового XIX столетия он все чаще стал публиковать заметки и рассуждения на историческую тему. Сразу стоит оговориться, что историком в ученом смысле он, конечно, не был. Но история сама по себе давала тот колорит, который мог использовать Карамзин-писатель. Работать не с вымыслом, но с правдой, окрашивая эту правду в привычно-сентиментальные тона, было для него и удобнее, и приятнее. Пока что это были небольшие статьи.

Между тем в государстве Российском наступили перемены. Сначала умерла Екатерина, и престол унаследовал Павел, который боготворил масонов и тут же выпустил из тюрьмы Новикова. За недолгое время заточения в крепости из активного и живого человека он превратился в ходячего мертвеца: вдруг обнажились все болезни, наступила старость. Павел жаждал призвать Новикова служить отечеству, но тот уже ничего не мог. Согбенный и больной, он удалился в свое имение, где и прожил еще много лет, но участия в политической жизни более никогда не принимал.

О печальной судьбе Новикова, подводя ей итог, и уже в царствование Александра, сам

Карамзин писал так: «Господин Новиков в самых молодых годах сделался известен публике своим отличным авторским дарованием: без воспитания, без учения писал остроумно, приятно и с целью нравственную; издал многие полезные творения, например: ««Древнюю российскую вивлиофику»», ««Детское чтение»», разные экономические, учебные книги. Императрица Екатерина II одобряла труды Новикова, и в журнале его (««Живописце»») напечатаны некоторые произведения собственного пера ее. Около 1785 года он вошел в связь по масонству с берлинскими теософами и сделался в Москве начальником так называемых *мартинистов*, которые были (или суть) не что иное, как *христианские мистики*: толковали природу и человека, искали таинственного смысла в Ветхом и Новом Завете, хвалились древними преданиями, унижали школьную мудрость и проч.; но требовали истинных христианских добродетелей от учеников своих, не вмешивались в политику и ставили в закон верность к государю. Их общество, под именем *масонства*, распространилось не только в двух столицах, но и в губерниях; открывались *ложи*; выходили книги масонские, мистические, наполненные загадками. В то же время Новиков и друзья его на свое иждивение воспитывали бедных молодых людей, учили их в школах, в университетах; вообще употребляли

немалые суммы на благотворение. Императрица, опасаясь вредных тайных замыслов сего общества, видела его успехи с неудовольствием: сперва только шутила над заблуждением умов и писала комедии, чтобы осмеивать оное; после запретила *ложки*; — но, зная, что масоны не перестают *работать*, тайно собираются в домах, проповедуют, обращают, внутренне досадовала и велела московскому градоначальнику наблюдать за ними. Три обстоятельства умножили ее подозрения.

1. Один из мартинистов, или теософистских масонов, славный архитектор Баженов, писал из С.-Петербурга к своим московским друзьям, что он, говоря о масонах с тогдашним великим князем Павлом Петровичем, удостоверился в его добром об них мнении. Государыне вручили это письмо. Она могла думать, что масоны, или мартинисты, желают преклонить к себе великого князя.

2. Новиков во время неурожая роздал много хлеба бедным земледельцам. Удивлялись его богатству, не зная, что деньги на покупку хлеба давал Новикову г. Походяшин, масон, который имел тысяч шестьдесят дохода и по любви к благодеяниям в сей год разорился.

3. Новиков вел переписку с прусскими теософами, хотя и не политическую, в то время когда наш двор был в явной неприязни с берлинским.

Сии случаи, французская революция и излишние опасения московского градоначальника решили судьбу Новикова: его взяли в Тайную канцелярию, допрашивали и заключили в Шлиссельбургской крепости, не уличенного действительно ни в каком государственном преступлении, но сильно подозреваемого в намерениях, вредных для благоустройства гражданских обществ. Главное имение Новикова состояло в книгах: их конфисковали и большую часть сожгли (то есть все мистические).

Были тайные допросы и другим главным московским мистикам: двух из них сослали в их деревни; третьего, И. В. Лопухина, который отвечал смелее своих товарищей, оставили в Москве на свободе.

Император Павел в самый первый день своего восшествия на престол освободил Новикова, сидевшего около четырех лет в душной темнице; призывал его к себе в кабинет, обещал ему свою милость как невинному страдальцу и приказал возвратить конфискованное имение, то есть остальные, несожженные книги. Заключим: Новиков как гражданин, полезный своею деятельностью, заслуживал общественную признательность; Новиков как теософический мечтатель, по крайней мере, не заслуживал темницы: он был жертвою подозрения

извинительного, но несправедливого. Бедность и несчастье его детей подают случай государю милосердому вознаградить в них усопшего страдальца, который уже не может принести ему благодарности в здешнем свете, но может принести ее Всевышнему».

Это было писано в назидание Александру Первому, дабы заботой о детях тот «отмыл» грехи своей бабки.

При Павле Новиков мог пригодиться отечеству. Но отечество сделало его практически инвалидом. К тому же император видел в Новикове прежде всего масона, а не реформатора. В этом плане новый император был большой оригинал. Понимая, что отечественные масоны своего рода суррогатные, он стал привечать на родине заграничных масонов — членов мальтийского ордена, потерявших свою Мальту. В благодарность за теплый прием мальтийские рыцари произвели императора в должность магистра, хотя по всем орденским канонам никакого права на это не имели. Павел гордился масонским званием. Масоны спешно входили в моду. Вряд ли Карамзин мог наблюдать это императорское масонское воссияние без улыбки.

Впрочем, время правления Павла было недолгим. В новом XIX столетии его сменил отцеубийца Александр. Именно на восшествие

Александра на русский престол Карамзин и опубликовал первое свое произведение нового для него направления — «Историческое похвальное слово императрице Екатерине II». В этом тексте писатель отдавал должное блестящему столетию Екатерины и ее деяниям, проводя подспудно идею, что только разумное и просвещенное правление монарха может гарантировать стране процветание.

Поскольку текст был сугубо назидательным, Николай Михайлович не стал в нем поминать пороки екатерининского правления, сделав упор только на заслугах. Император оценил похвалу. В молодые лета он действительно жаждал быть просвещенным монархом и задумывал ряд реформ. Неудивительно, что в Карамзине он увидел союзника. Но тут император несколько ошибался: Карамзин не считал пороки добродетелями, но придерживался мнения, что по случаю праздника не следует говорить о дурном. Всему существует свое время и место.

В «Слове» Карамзин впервые попробовал нарисовать целостную картину минувшего века. К его удивлению, картина получилась впечатляющая. За «Словом» последовали другие исторические опыты. Эта новая публицистика на историческую тему быстро нашла своего читателя, стала печататься в «Вестнике Европы» — солидном тогдашнем журнале, который издавал сам Николай

Михайлович. В этом журнале, кроме статей на разную тему и переводов, появилась также более значительная его повесть «Марфа Посадница», произведение, сложенное на основе исторических фактов и преданий.

Если манерные, переполненные умилением и слезами, то есть тем, что называлось емким словом «настроение», ранние повести сделали Карамзина любимцем читающей России, то «Марфа» сразу обозначила новый этап в его творчестве. Он заявил о себе как писатель исторический. Кошмарная судьба самой Марфы, конец новгородских вольностей — все это позволило Карамзину обозначить для широкого круга читателей узкоспециальную тему. История, представлявшая для образованного слоя сплошное черное пятно, вдруг оказалась расцвечена бытовыми деталями, в ней действовали живые люди, которые за что-то боролись, кого-то любили и чему-то радовались или печалились. Исторические персонажи впервые обрели человеческое лицо. Пусть карамзинские герои изъяснялись в традициях Расина и Корнеля, а в обращении к соратникам использовали цитаты из Тита Ливия, это все же были картинки из русской истории.

Неслучайно, ознакомившись со статьями и прозой Карамзина, товарищ министра народного образования М. Муравьев предложил тому звание

историографа и ежегодный пенсион в 2000 рублей. От писателя требовалось только одно: составить историю Русского государства так, чтобы она была написана простым и живым языком.

До Карамзина, конечно, существовали специальные труды по русской истории. Одним из них пользовался при составлении своей «Истории государства Российского» сам автор — это была история, написанная Щербатовым, с которым Николай Михайлович консультировался не раз. К сожалению, Щербатов был историком своеобразным, в его сочинении содержалось немало неточностей и ошибок, да и факты он предпочитал подбирать под собственные идеи. Щербатовские огрехи переползли и в повествование Карамзина. Труды другого историка, Шлецера, Карамзину не нравились из-за сугубой научности.

Карамзин, повторюсь, не был ученым-историком, он не понимал критического отношения к источникам, не понимал и философского взгляда на исторические события. Вся история проходила перед ним в лицах. Так что неудивительно, что факты он домысливал, зачастую убивая этим истину, а красивая картинка, трепетное описание, живо выписанный характер имели больше отношения к литературе, чем к исторической правде.

Саму щербатовскую «Историю» Карамзин

переработал так, что домыслы заступили место приведенных в ней фактов, которые, как уже указывалось, и так имели некоторую однобокость. Но если щербатовский труд был известен разве что любителям древностей, то карамзинская «История» стала настольной книгой в каждом образованном семействе.

И если винить Карамзина в искажении исторической действительности, то прежде стоит указать на те же пороки книги князя Щербатова. Карамзин ведь исторического образования не имел, он был совершеннейшим дилетантом. Удивительно, что в немолодые уже годы он сумел изучить этот серьезный предмет так, что спустя шесть лет после вступления в историографическую должность мог без страха и трепета возражать своим ученым оппонентам и спорить на специальные научные темы.

Что же касается ошибок и искажений в «Истории», стоит сразу оговориться, что Карамзин действовал в ущерб исторической правде ненамеренно: он просто искал для своих персонажей более выигрышный литературный ход, вкладывал им в головы собственные мысли и переживания, как делал прежде с вымышленными литературными героями. Для него исторические персонажи ничем не отличались от литературных героев.

Так что «История», которую на протяжении 22 лет писал для русского читателя Карамзин, говорит больше не о реальных лицах, в ней действовавших, а о предпочтениях и взглядах самого писателя. Если ему встречалось несколько источников, по-разному рассказывающих о реальных событиях, Карамзин выбирал не тот, что достовернее, а тот, что давал более яркую картинку.

Как практически придворному историографу, ему были открыты многие древние тексты, которые затем были навсегда утрачены для потомков. Он пользовался рукописями, которые в более позднее время погибли при пожарах и других бедствиях. И только по комментариям к каждому тому (а таких вышло 12, последний — уже после смерти автора) мы можем судить, что же это были за источники и о чем они говорили. Если просвещенная публика читала с упоением текст самой «Истории», то специалисты с гораздо большим интересом изучали позже его комментарии к тексту. И для историков они так и остались самым важным из всего, что написал Карамзин в чине придворного историка.

Сам же Карамзин составлял комментарии по той простой причине, что источников было много, часто они противоречили друг другу, и вместить их в сам текст оказалось невозможным. Если бы ему удалось, то он написал бы свою «Историю» без

комментариев. Но, к великому счастью для потомков, это у него не получилось.

Начав свою «Историю» в 1804 году, он продолжал работу над ней до самой своей смерти в 1826 году. Начав с бытописания жизни первых русских князей, он закончил временем Смуты. Правящий дом Романовых не попал в карамзинскую историю. Для русского читателя это была самая что ни есть древнейшая история отчизны. То, о чем рассказывал Карамзин, было отделено от его времени минимум двумя столетиями. Повествуя о «начале начал», он мог не бояться показаться непатриотичным. Но его «История» оказалась излишне патетична и переполнена восклицаниями и славословиями тем князьям, которых принято было считать «хорошими». Имея под рукой разного рода источники, Карамзин исключал те, где его герои выглядели не столь привлекательно.

Почему? Мне кажется, что разгадка проста: Карамзин не боялся гнева царя, но желал преподать урок читателям: вот как нужно радеть за отечество, вот как его следует защищать, вот как нужно относиться по-доброму ко всем его жителям. Он ведь искренне считал, что счастливым может быть только добрый человек. И только добрый человек может быть сильным. И только он может быть мудрым. И такими — сильными, мудрыми и

счастливыми, а потому добрыми — он желал видеть своих читателей. Так что сюжеты для своей «Истории» он отбирал такие, где зло в конечном счете наказано, справедливость восстановлена и герои вознаграждены по заслугам. В хорошем романе так ведь, собственно, и бывает: злодей погибает от собственной злобы, добродетельный юноша находит счастье, прекрасную девушку спасают от поругания, и живут они далее за пределами романа долго и счастливо и умирают в один день.

Но русские летописи рассказывали такие ужасающие подробности о древних героях, что приходилось изобретать средство, как этих героев оправдать. И если древние летописцы не видели в их жестокостях ничего особенного, то современник Карамзина уже не понял бы, почему это князь, которого рекомендуют в добродетельные, умерщвляет своих братьев или насилует чужую невесту на глазах ее родителей.

Вот и приходилось Карамзину восклицать, объяснять, даже убирать наиболее пикантные эпизоды из своей «Истории». В результате то, что родилось за четверть века постоянного труда, стоит называть не «Историей», а романом, или, как предлагали противники Карамзина, летописью.

Иными словами, умело пряча негативные факты за красивыми картинками, Николай

Михайлович не столько желал восславить самодержавие (в этом вопросе он вообще ничего нового не изобретал — все исторические труды, написанные до Карамзина, считали самодержавие единственно возможной формой государственного правления), сколько воспламенить сердца читателей любовью к положительным героям своей длинной книги.

Увы, исторические персонажи за эти 22 года труда стали для него не чужими людьми, а его героями. И — слаб человек! — иногда он оправдывал их не самые хорошие поступки. Зато хорошие для отечества воспевал едва ли не со страстью мифического Бояна.

Что же касается смелости или трусости Карамзина, то судите сами. В 1811 году, накануне войны с Наполеоном, увидев, что Александр не справляется с управлением страной в духе просвещения, Карамзин передал через великую княгиню Екатерину Павловну (с ней он дружил) «Записку о древней и новой истории в ее политическом и гражданском отношении». Это был практически самоубийственный поступок. Начиналась «Записка» цитатой из Псалтыри: «Несть лести в языке моем». Стоит привести этот любопытный, хотя и длинный документ частично. В нем, как ни в каком ином тексте, отражена так ясно и точно гражданская позиция Карамзина.

Начиная с древних времен, автор переходит к событиям современности и без всякого снисхождения обличает пороки общественного устройства, хотя при всем том остается верноподанным своему государю — безмолвным и с чистым сердцем.

«Настоящее бывает следствием прошедшего. Чтобы судить о первом, надлежит вспомнить последнее; одно другим, так сказать, дополняется и в связи представляется мыслям яснее. От моря Каспийского до Балтийского, от Черного до Ледовитого, за тысячу лет пред сим жили народы кочевые, звероловные и земледельческие, среди обширных пустынь, известных грекам и римлянам более по сказкам баснословия, нежели по верным описаниям очевидцев. Провидению угодно было составить из сих разнородных племен обширнейшее государство в мире. Рим, некогда сильный доблестью, ослабел в неге и пал, сокрушенный мышцею варваров северных. Началось новое творение: явились новые народы, новые нравы, и Европа восприняла новый образ, доныне ею сохраненный в главных чертах ее бытия политического. Одним словом, на развалинах владычества римского основалось в Европе владычество народов германских.

В сию новую, общую систему вошла и Россия. Скандинавия, гнездо витязей беспокойных —

officina gentium, vagina nationum — дала нашему отечеству первых государей, добровольно принятых славянскими и чудскими племенами, обитавшими на берегах Ильменя, Бела-озера и реки Великой. «Идите, — сказали им чужь и славяне, наскучив своими внутренними междоусобиями, — идите княжить и властвовать над нами. Земля наша обильна и велика, но порядка в ней не видим». Сие случилось в 862 году, а в конце X [века] Европейская Россия была уже не менее нынешней, то есть, во сто лет она достигла от колыбели до величия редкого. В 964 г. россияне, как наемники греков, сражались в Сицилии с аравитянами, а после в окрестностях Вавилона. Что произвело феномен столь удивительный в истории? Пылкая, романтическая страсть наших первых князей к завоеваниям и единовластие, ими основанное на развалинах множества слабых, несогласных держав народных, из коих составила Россия. Рюрик, Олег, Святослав, Владимир не давали образумиться гражданам в быстром течении побед, в непрестанном шуме воинских станов, платя им славою и добычею за утрату прежней вольности, бедной и мятежной.

В XI [веке] государство Российское могло, как бодрый, пылкий юноша, обещать себе долголетие и славную деятельность. Монархи его в твердой руке своей держали судьбы миллионов, озаренные

блеском побед, окруженные воинственною, благородною дружиною, казались народу полубогами, судили и рядили землю, мановением воздвигали рать и движением перста указывали ей путь к Боспору Фракийскому, или к горам Карпатским. В счастливом отдохновении мира государь пировал с вельможами и народом, как отец среди семейства многочисленного. Пустыни украсились городами, города — избранными жителями; свирепость диких нравов смягчилась верою христианскою; на берегах Днепра и Волхова явились искусства византийские. Ярослав дал народу свиток законов гражданских, простых и мудрых, согласных с древними немецкими. Одним словом, Россия не только была обширным, но, в сравнении с другими, и самым образованным государством.

К несчастью, она в сей бодрой юности не предохранила себя от государственной общей язвы тогдашнего времени, которую народы германские сообщили Европе: говорю о системе удельной. Счастье и характер Владимира, счастье и характер Ярослава могли только отсрочить падение державы, основанной единовластием на завоеваниях. Россия разделилась.

Вместе с причиною ее могущества, столь необходимого для благоденствия, исчезло и могущество, и благоденствие народа. Открылось

жалкое междоусобие малодушных князей, которые, забыв славу, пользу отечества, резали друг друга и губили народ, чтобы прибавить какой-нибудь ничтожный городок к своему уделу. Греция, Венгрия, Польша отдохнули: зрелище нашего внутреннего бедствия служило им поручительством в их безопасности. Дотоле боялись россиян, — начали презирать их. Тщетно некоторые князья великодушные — Мономах, Василько — говорили именем отечества на торжественных съездах, тщетно другие — Боголюбский, Всеволод III — старались присвоить себе единовластие: покушения были слабы, недружны, и Россия в течение двух веков терзала собственные недра, пила слезы и кровь собственную. Открылось и другое зло, не менее губительное. Народ утратил почтение к князьям: владетель Торопца, или Гомеля, мог ли казаться ему столь важным смертным, как монарх всей России? Народ охладел в усердии к князьям, видя, что они, для ничтожных, личных выгод, жертвуют его кровью, и равнодушно смотрел на падение их тронов, готовый все еще взять сторону счастливейшего, или изменить ему вместе с счастьем; а князья, уже не имея ни доверенности, ни любви к народу, старались только умножать свою дружину воинскую: позволили ей теснить мирных жителей сельских и купцов; сами обирали их, чтоб иметь более денег в казне на всякий

случай, и сею политикою, утратив нравственное достоинство государей, сделались подобны судьям-лихоимцам, или тиранам, а не законным властителям. И так, с ослаблением государственного могущества, ослабела и внутренняя связь подданства с властью.

В таких обстоятельствах удивительно ли, что варвары покорили наше отечество? Удивительнее, что оно еще столь долго могло умирать по частям и в сердце, сохраняя вид и действия жизни государственной, или независимость, изъясняемую одною слабостью наших соседей.

Земля Русская, упоенная кровью, усыпанная пеплом, сделалась жилищем рабов ханских, а государи ее трепетали баскаков. Казалось, что Россия погибла навеки.

Сделалось чудо. Городок, едва известный до XIV века, от презрения к его маловажности именуемый селом Кучковым, возвысил главу и спас отечество. Да будет честь и слава Москве! В ее стенах родилась, созрела мысль восстановить единовластие в истерзанной России, и хитрый Иоанн Калита, заслужив имя Собирателя земли Русской, есть первоначальник ее славного воскресения, беспримерного в летописях мира. Надлежало, чтобы его преемники в течение века следовали одной системе с удивительным постоянством и твердостью, — системе наилучшей

по всем обстоятельствам и которая состояла в том, чтобы употребить самих ханов в орудие нашей свободы... Глубокомысленная политика князей московских не удовлетворялась собранием частей в целое: надлежало еще связать их твердо и единовластие усилить самодержавием... Князья пресмыкались в Орде, но, возвращаясь оттуда с милостивым ярлыком ханским, повелевали смелее, нежели в дни нашей государственной независимости. Народ, смиренный игом варваров, думал только о спасении жизни и собственности, мало заботясь о своих правах гражданских. Сии расположением умов, сими обстоятельствами воспользовались князья московские и, мало-помалу истребив все остатки древней республиканской системы, основали истинное самодержавие. Умолк вечевой колокол во всех городах России. Дмитрий Донской отнял власть у народа избирать тысяцких, и, вопреки своему редкому человеколюбию, первый уставил торжественную смертную казнь для государственных преступников, чтобы вселить ужас в дерзких мятежников.

Сие великое творение князей московских было произведено не личным их геройством, ибо, кроме Донского, никто из них не славился оным, но единственно умной политической системой, согласно с обстоятельствами времени. Россия основалась победами и единоначалием, гибла от

разновластия, а спаслась мудрым самодержавием[...].

Политическая система государей московских заслуживала удивление своею мудростью: имея целью одно благоденствие народа, они воевали только по необходимости, всегда готовые к миру, уклоняясь от всякого участия в делах Европы, более приятного для суетности монархов, нежели полезного для государства, и, восстановив Россию в умеренном, так сказать, величии, не алкали завоеваний неверных или опасных, желая сохранять, а не приобретать.

Внутри самодержавие укоренилось. Никто, кроме государя, не мог ни судить, ни жаловать: всякая власть была изливанием монаршей. Жизнь, имение зависели от произвола царей, и знаменитейшее в России титуло уже было не княжеское, не боярское, но титуло слуги царева. Народ, избавленный князьями московскими от бедствий внутреннего междоусобия и внешнего ига, не жалел о своих древних вечах и сановниках, которые умеряли власть государеву; детальный действием, не спорил о правах. Одни бояре, столь некогда величавые в удельных господствах, роптали на строгость самодержавия; но бегство или казнь их свидетельствовали твердость оного. Наконец, царь сделался для всех россиян земным Богом...

Князья московские учредили самодержавие — отечество даровало оное Романовым.

Самое личное избрание Михаила доказывало искреннее намерение утвердить единовластие. Древние княжеские роды, без сомнения, имели гораздо более права на корону, нежели сын племянника Иоанновой супруги, коего неизвестные предки выехали из Пруссии, но царь, избранный из сих потомков Мономаховых, или Олеговых, имея множество знатных родственников, легко мог бы дать им власть аристократическую и тем ослабить самодержавие. Предпочли юношу, почти безродного; но сей юноша, свойственник царский, имел отца, мудрого, крепкого духом, непреклонного в советах, который долженствовал служить ему пестуном на троне и внушать правила твердой власти. Так строгий характер Филарета, не смятенный принужденною монашескою жизнью, более родства его с Федором Иоанновичем способствовал к избранию Михаила.

Исполнилось намерение сих незабвенных мужей, которые в чистой руке держали тогда урну судьбы нашей, обуздывая собственные и чуждые страсти. Дуга небесного мира воссияла над тронem Российским. Отечество под сенью самодержавия успокоилось, извергнув чужеземных хищников из недр своих, возвеличилось приобретениями и вновь образовалось в гражданском порядке, творя,

обновляя и делая только необходимое, согласное с понятиями народными и ближайшее к существующему. Дума Боярская осталась на древнем основании, т. е. советом царей во всех делах важных, политических, гражданских, казенных. Прежде монарх рядил государство через своих наместников, или воевод; недовольные ими прибегали к нему: он судил дело с боярами.

Сия восточная простота уже не ответствовала государственному возрасту России, и множество дел требовало более посредников между царем и народом. Учредились в Москве приказы, которые ведали дела всех городов и судили наместников. Но еще суд не имел устава полного, ибо Иоаннов оставлял много на совесть, или произвол судящего. Уверенный в важности такого дела, царь Алексей Михайлович назначил для оного мужей думных и повелел им, вместе с выборными всех городов, всех состояний, исправить Судебник, дополнить его законами греческими, нам давно известными, новейшими указами царей и необходимыми прибавлениями на случаи, которые уже встречаются в судах, но еще не решены законом ясным. Россия получила Уложение, скрепленное патриархом, всеми значительными духовными, мирскими чиновниками и выборными городскими. Оно, после хартии Михайлова избрания, есть доныне важнейший Государственный завет нашего

Отечества.

Вообще, царствование Романовых, Михаила, Алексея, Феодора, способствовало сближению россиян с Европою как в гражданских учреждениях, так и в нравах от частых государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве. Еще предки наши усердно следовали своим обычаям, но пример начинал действовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком в воинских Уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении: ибо нет сомнения, что Европа от XIII до XIV века далеко опередила нас в гражданском просвещении. Сие изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое соединяя со старым.

Явился Петр[...] Потомство воздало усердную хвалу сему бессмертному государю и личным его достоинствам и славным подвигам. Он имел великодушие, проницание, волю непоколебимую, деятельность, неутомимость редкую: исправил, умножил войско, одержал блестящую победу над врагом искусным и мужественным; завоевал Ливонию, сотворил флот, основал гавани, издал

многие законы мудрые, привел в лучшее состояние торговлю, рудокопни, завел мануфактуры, училища, академию, наконец поставил Россию на знаменитую степень в политической системе Европы. Говоря о превосходных его дарованиях, забудем ли почти важнейшее для самодержцев дарование: употреблять людей по их способностям? Полководцы, министры, законодатели не рождаются в такое или такое царствование, но единственно избираются... Чтобы избрать, надобно угадать; угадывают же людей только великие люди — и слуги Петровы удивительным образом помогли ему на ратном поле, в Сенате, в Кабинете. Но мы, россияне, имея перед глазами свою историю, подтвердим ли мнение несведущих иноземцев и скажем ли, что Петр есть творец нашего величия государственного?.. Забудем ли князей московских: Иоанна I, Иоанна III, которые, можно сказать, из ничего воздвигли державу сильную, и, — что не менее важно, — учредили твердое в ней правление единовластное?.. Петр нашел средства делать великое — князья московские приготавливали оное. И, славя славное в сем монархе, оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего царствования?

Умолчим о пороках личных; но сия страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы благоразумия. Петр не хотел вникнуть в истину, что

дух народный составляет нравственное могущество государств, подобно физическому, нужное для их твердости.

Сей дух и вера спасли Россию во времена самозванцев; он есть не что иное, как привязанность к нашему особенному, не что иное, как уважение к своему народному достоинству. Искореня древние навыки, представляя их смешными, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце.

Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам? Любовь к Отечеству питается сими народными особенностями, безгрешными в глазах космополита, благотворными в глазах политика глубокомысленного. Просвещение достохвально, но в чем состоит оно? В знании нужного для благоденствия: художества, искусства, науки не имеют иной цены. Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ. Два государства могут стоять на одной степени гражданского просвещения, имея нравы различные. Государство может заимствовать от другого полезные сведения, не следуя ему в обычаях. Пусть сии обычаи естественно изменяются, но предписывать им Уставы есть насилие, незаконное и для монарха самодержавного. Народ в первоначальном завете с венценосцами сказал им: «Блюдите нашу

безопасность вне и внутри, наказывайте злодеев, жертвуйте частью для спасения целого», — но не сказал: «противоборствуйте нашим невинным склонностям и вкусам в домашней жизни». В сем отношении государь, по справедливости, может действовать только примером, а не указом.

Петр ограничил свое преобразование дворянством. Дотоле, от сохи до престола, россияне сходствовали между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях — со времен Петровых высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах, ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний.

В течение веков народ обвык чтить бояр как мужей, ознаменованных величием, — поклонялся им с истинным уничижением, когда они со своими благородными дружинами, с азиатскою пышностью, при звуке бубнов являлись на стогнах, шествуя в храм Божий или на совет к государю. Петр уничтожил достоинство бояр: ему надобны были министры, канцлеры, президенты! Вместо древней славной Думы явился Сенат, вместо приказов — коллегии, вместо дьяков — секретари и проч. Та же бессмысленная для россиян перемена в воинском чиновачалии: генералы, капитаны, лейтенанты изгнали из нашей рати воевод,

сотников, пятидесятников и проч. Честью и достоинством россиян сделалось подражание.

Семейственные нравы не укрылись от влияния царской деятельности. Вельможи стали жить открытым домом; их супруги и дочери вышли из непроницаемых теремов своих; балы, ужины соединили один пол с другим в шумных залах; россиянки перестали краснеть от нескромного взора мужчин, и европейская вольность заступила место азиатского принуждения... Чем более мы успевали в людскости, в обходительности, тем более слабели связи родственные: имея множество приятелей, чувствуем менее нужды в друзьях и жертвуем свету союзом единокровия.

Не говорю и не думаю, чтобы древние россияне под великокняжеским, или царским правлением были вообще лучше нас. Не только в сведениях, но и в некоторых нравственных отношениях мы превосходнее, т. е. иногда стыдимся, чего они не стыдились, и что, действительно, порочно; однако ж должно согласиться, что мы, с приобретением добродетелей человеческих, утратили гражданские. Имя русского имеет ли теперь для нас ту силу неисповедимую, какую оно имело прежде? И весьма естественно: деды наши, уже в царствование Михаила и сына его присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, все еще оставались в тех мыслях, что

правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а Святая Русь — первое государство. Пусть назовут то заблуждением; но как оно благоприятствовало любви к Отечеству и нравственной силе оного!

Теперь же, более ста лет находясь в школе иноземцев, без дерзости можем ли похвалиться своим гражданским достоинством? Некогда называли мы всех иных европейцев неверными, теперь называем братьями; спрашиваю: кому бы легче было покорить Россию — неверным или братьям? Т. е. кому бы она, по вероятности, долженствовала более противиться? При царе Михаиле или Феодоре вельможа российский, обязанный всем Отечеству, мог ли бы с веселым сердцем навеки оставить его, чтобы в Париже, в Лондоне, Вене спокойно читать в газетах о наших государственных опасностях? Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Петр.

Он велик без сомнения; но еще мог бы возвеличиться гораздо более, когда бы нашел способ просветить ум россиян без вреда для их гражданских добродетелей [...]. Еще народные склонности, привычки, мысли имели столь великую силу, что Петр, любя в воображении некоторую свободу ума человеческого, долженствовал прибегнуть ко всем ужасам самовластия для

обуздания своих, впрочем, столь верных подданных. Тайная канцелярия день и ночь работала в Преображенском: пытки и казни служили средством нашего славного преобразования государственного. Многие гибли за одну честь русских кафтанов и бороды: ибо не хотели оставить их и дерзали порицать монарха. Сим бедным людям казалось, что он, вместе с древними привычками, отнимает у них самое Отечество [...].

Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку Петра Великого? Разумею основание новой столицы на северном крае государства, среди зыбей болотных, в местах, осужденных порою на бесплодие и недостаток. Еще не имея ни Риги, ни Ревеля, он мог заложить на берегах Невы купеческий город для ввоза и вывоза товаров; но мысль утвердить там пребывание государей была, есть и будет вредною. Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов употреблено для приведения в действие сего намерения? Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупях [...].

Но великий муж самыми ошибками доказывает свое величие: их трудно или невозможно изгладить — как хорошее, так и худое делает он навеки. Сильною рукою дано новое движение России; мы уже не возвратимся к

старине!.. Второй Петр Великий мог бы только в 20 или 30 лет утвердить новый порядок вещей гораздо основательнее, нежели все наследники Первого до самой Екатерины II. Несмотря на его чудесную деятельность, он многое оставил исполнить преемникам, но Меншиков думал единственно о пользах своего личного властолюбия; так и Долгорукие. Меншиков замышлял открыть сыну своему путь к трону; Долгорукие и Голицыны хотели видеть на престоле слабую тень монарха и господствовать именем Верховного Совета. Замыслы дерзкие и малодушные! Пигмеи спорили о наследии великана. Аристократия, олигархия губила отечество...

И, в то время, когда оно изменило нравы, утвержденные веками, потрясенные внутри новыми, важными переменами, которые, удалив в обычаях дворянство от народа, ослабили власть духовную, могла ли Россия обойтись без государя? Самодержавие сделалось необходимее прежнего для охранения порядка — и дочь Иоаннова, быв несколько дней в зависимости осьми аристократов, восприняла от народа, дворян и духовенства власть неограниченную. Сия государыня хотела правительствовать согласно с мыслями Петра Великого и спешила исправить многие упущения, сделанные с его времени [...].

Но злосчастная привязанность Анны к

любимцу бездушному, низкому омрачила и жизнь, и память ее в истории. Воскресла Тайная канцелярия Преображенская с пытками; в ее вертепах и на площадях градских лились реки крови. И кого терзали? Врагов ли государыни? Никто из них и мысленно не хотел ей зла: самые Долгорукие виновны были только перед Отечеством, которое примирилось с ними их несчастием. Бирон, не достойный власти, думал утвердить ее в руках своих ужасами: самое легкое подозрение, двусмысленное слово, даже молчание казалось ему иногда достаточною виною для казни или ссылки. Он, без сомнения, имел неприятелей: добрые россияне могли ли видеть равнодушно курляндского шляхтича почти на троне? Но сии Бироновы неприятели были истинными друзьями престола и Анны. Они гибли; враги наушника Бирона гибли; а статный конь, ему подаренный, давал право ждать милостей царских.

Вследствие двух заговоров злобный Бирон и добродушная правительница утратили власть и свободу. Лекарь француз и несколько пьяных гренадеров возвели дочь Петрову на престол величайшей империи в мире с восклицаниями: «гибель иноземцам! честь россиянам!»

Первые времена сего царствования ознаменовались нахальством славной лейбкомпании, возложением голубой ленты на

малороссийского певчего и бедствием наших государственных благодетелей — Остермана и Миниха, которые никогда не были так велики, как стоя под эшафотом и желая счастья России и Елизавете. Как при Анне, так и при Елизавете Россия текла путем, предписанным ей рукою Петра, более и более удаляясь от своих древних нравов и сообразуясь с европейскими.

Замечались успехи светского вкуса. Уже двор наш блистал великолепием и, несколько лет говорив по-немецки, начал употреблять язык французский. В одежде, в экипажах, в услуге вельможи наши мерялись с Парижем, Лондоном, Веною. Но грозы самодержавия еще пугали воображение людей: осматривались, произнося имя самой кроткой Елизаветы или министра сильного; еще пытки и Тайная канцелярия существовали.

Новый заговор — и несчастный Петр III в могиле со своими жалкими пороками... Екатерина II была истинною преемницею величия Петрова и второю образовательницею новой России. Главное дело сей незабвенной монархини состоит в том, что ею смягчилось самодержавие, не утратив силы своей. Она ласкала так называемых философов XVIII века и пленялась характером древних республиканцев, но хотела повелевать, как земной Бог, — и повелевала. Петр, насильствуя обычаи народные, имел нужду в средствах жестоких —

Екатерина могла обойтись без оных, к удовольствию своего нежного сердца: ибо не требовала от россиян ничего противного их совести и гражданским навыкам, стараясь единственно возвеличить данное ей Небом Отечество или славу свою — победами, законодательством, просвещением. Ее душа, гордая, благородная, боялась унизиться робким подозрением, — и страхи Тайной канцелярии исчезли, с ними вместе исчез у нас и дух рабства, по крайней мере, в высших гражданских состояниях...

Екатерина очистила самодержавие от примесей тиранства. Следствием были спокойствие сердец, успехи приятностей светских, знаний, разума. Возвысив нравственную цену человека в своей державе, она пересмотрела все внутренние части нашего здания государственного и не оставила ни единой без поправления: уставы Сената, губерний, судебные, хозяйственные, военные, торговые усовершенствовались ею. Внешняя политика сего царствования достойна особенной хвалы: Россия с честью и славою занимала одно из первых мест в государственной европейской системе [...] Она была женщина, но умела избирать вождей так же, как министров или правителей государственных [...]. Ее победы утвердили внешнюю безопасность государства [...].

Правилом монархини было не мешаться в войны,

чуждые и бесполезные для России, но питать дух ратный в империи, рожденной победами.

Слабый Петр III, желая угодить дворянству, дал ему свободу служить или не служить. Умная Екатерина, не отменив сего закона, отвратила его вредные для государства следствия: любовь к Святой Руси, охлажденную в нас переменами Великого Петра, монархиня хотела заменить гражданским честолюбием; для того соединила с чинами новые прелести или выгоды, вымышляя знаки отличий, и старалась поддерживать их цену достоинством людей, украшаемых оными. Крест Св. Георгия не рождал, однако ж усиливал храбрость. Многие служили, чтобы не лишиться места и голоса в Дворянских собраниях; многие, несмотря на успехи роскоши, любили чины и ленты гораздо более корысти. Сим утвердилась нужная зависимость дворянства от трона.

Но согласимся, что блестящее царствование Екатерины представляет взору наблюдателя и некоторые пятна. Нравы более развратились в палатах и хижинах. [...] В самых государственных учреждениях Екатерины видим более блеска, нежели основательности: избиралось не лучшее по состоянию вещей, но красивейшее по формам. Таково было новое учреждение губерний, изящное на бумаге, но худо примененное к обстоятельствам России. Солон говорил: «Мои законы

несовершенные, но лучшие для афинян». Екатерина хотела умозрительного совершенства в законах, не думая о легчайшем, полезнейшем действии оных: дала нам суды, не образовав судей; дала правила без средств исполнения.

Многие вредные следствия Петровой системы также яснее открылись при сей государыне: чужеземцы овладели у нас воспитанием, двор забыл язык русский; от излишних успехов европейской роскоши дворянство одолжало; дела бесчестные, внушаемые корыстолюбием для удовлетворения прихотям, стали обыкновеннее; сыновья бояр наших рассыпались по чужим землям тратить деньги и время для приобретения французской или английской наружности. У нас были академии, высшие училища, народные школы, умные министры, приятные светские люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флот и великая монархиня, — не было хорошего воспитания, твердых правил и нравственности в гражданской жизни. Любимец вельможи, рожденный бедным, не стыдился жить пышно; вельможа не стыдился быть развратным. Торговали правдою и чинами.

Екатерина — Великий Муж в главных собраниях государственных — являлась женщиною в подробностях монаршей деятельности: дремала на розах, была обманываема или себя обманывала; не видала или не хотела видеть многих

злоупотреблений, считая их, может быть, неизбежными и довольствуясь общим, успешным, славным течением ее царствования.

По крайней мере, сравнивая все известные нам времена России, едва ли не всякий из нас скажет, что время Екатерины было счастливейшее для гражданина российского; едва ли не всякий из нас пожелал жить тогда, а не в иное время.

Следствия кончины ее заградили уста строгим судьям сей великой монархини: ибо особенно в последние годы ее жизни, действительно слабейшие в правилах и исполнении, мы более осуждали, нежели хвалили Екатерину, от привычки к добру уже не чувствуя всей цены оногo и тем сильнее чувствуя противное: доброе казалось нам естественным, необходимым следствием порядка вещей, а не личной Екатериной мудрости, худое же — ее собственною виною.

Павел восшел на престол в то благоприятное для самодержавия время, когда ужасы французской революции излечили Европу от мечтаний гражданской вольности и равенства... Но что сделали якобинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в отношении к самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оногo. По жалкому заблуждению ума и вследствие многих личных претерпленных им неудовольствий он хотел быть Иоанном IV; но россияне уже имели

Екатерину II, знали, что государь не менее подданных должен исполнять свои святыя обязанности, коих нарушение уничтожает древний завет власти с повиновением и низвергает народ со степени гражданственности в хаос частного естественного права. Сын Екатерины мог быть строгим и заслужить благодарность отечества; к неизъяснимому изумлению россиян, он начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами; казнил без вины, награждал без заслуг; отнял стыд у казни, у награды — прелесть; унижил чины и ленты расточительностью в оных; легкомысленно истреблял долговременные плоды государственной мудрости, ненавидя в них дело своей матери; умертвил в полках наших благородный дух воинский, воспитанный Екатериною, и заменил его духом капральства. [...]

Россияне смотрели на сего монарха как на Грозный метеор, считая минуты и с нетерпением ожидая последней. [...] Заговоры да устрашают народ для спокойствия государей! Да устрашают и государей для спокойствия народов!.. Две причины способствуют заговорам: общая ненависть или общее неуважение к властителю. Бирон и Павел были жертвою ненависти, правительница Анна и Петр III — жертвою неуважения. Миних, Лесток и

другие не дерзнули бы на дело, противное совести, чести и всем уставам государственным, если бы сверженные ими властители пользовались уважением и любовью россиян.

Не сомневаясь в добродетели Александра, судили единственно заговорщиков, подвигнутых местию и страхом личных опасностей; винули особенно тех, которые сами были орудием Павловых жестокостей и предметом его благодеяний. Сии люди уже, большею частью, скрылись от глаз наших в мраке могилы или неизвестности... Едва ли кто-нибудь из них имел утешение Брута или Кассия пред смертью или в уединении. Россияне одобрили юного монарха, который не хотел быть окружен ими, и с величайшею надеждою устремили взор на внука Екатерины, давшего обет властвовать по её сердцу!.. [...]

Два мнения были тогда господствующими в умах: одни хотели, чтобы Александр в вечной славе своей взял меры для обуздания неограниченного самовластия, столь бедственного при его родителе; другие, сомневаясь в надежном успехе такового предприятия, хотели единственно, чтобы он восстановил разрушенную систему Екатеринина царствования, столь счастливую и мудрую в сравнении с системою Павла. [...]

В самом деле, можно ли и какими способами

ограничить самовластие в России, не ослабив спасительной царской власти? Умы легкие не затрудняются ответом и говорят: «Можно, надобно только поставить закон еще выше государя». Но кому дадим право блюсти неприкосновенность этого закона? Сенату ли? Совету ли? Кто будут члены их? Выбираемые государем или государством? В первом случае они — угодники царя, во втором захотят спорить с ним о власти, — вижу аристократию, а не монархию.

Далее: что сделают сенаторы, когда монарх нарушит Устав? Представят о том его величеству? А если он десять раз посмеется над ними, объявят ли его преступником? Возмутят ли народ?.. Всякое доброе русское сердце содрогается от сей ужасной мысли. Две власти государственные в одной державе суть два грозные льва в одной клетке, готовые терзать друг друга, а право без власти есть ничто.

Самодержавие основало и воскресило Россию: с переменою Государственного Устава ее она гибла и должна погибнуть, составленная из частей столь многих и разных, из коих всякая имеет свои особенные гражданские пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, может в сей машине производить единство действия? Если бы Александр, вдохновенный великодушною ненавистью к злоупотреблениям самодержавия,

взял перо для предписания себе иных законов, кроме Божиих и совести, то истинный добродетельный гражданин российский дерзнул бы остановить его руку и сказать: «Государь! Ты престаупаешь границы своей власти: наученная долговременными бедствиями, Россия пред святым алтарем вручила самодержавие твоему предку и требовала, да управляет ею верховно, нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти, иной не имеешь; можешь все, но не можешь законно ограничить ее!..»

Но вообразим, что Александр предписал бы монаршей власти какой-нибудь Устав, основанный на правилах общей пользы, и скрепил бы оный святостью клятвы... Сия клятва без иных способов, которые все или невозможны, или опасны для России, будет ли уздою для преемников Александровых? Нет, оставим мудрствования ученические и скажем, что наш государь имеет только один верный способ обуздать своих наследников в злоупотреблениях власти: да царствует добродетельно! да приучит подданных ко благу!.. Тогда родятся обычаи спасительные; правила, мысли народные, которые лучше всех бранных форм удержат будущих государей в пределах законной власти... Чем? — страхом возбудить всеобщую ненависть в случае противной системы царствования. Тиран может иногда

безопасно господствовать после тирана, но после государя мудрого — никогда! «Сладкое отвращает нас от горького» — сказали послы Владимировы, изведав веры европейские.

Все россияне были согласны в добром мнении о качествах юного монарха: он царствует 10 лет, и никто не переменит о том своих мыслей; скажу еще более: все согласны, что едва ли кто-нибудь из государей превосходил Александра в любви, в ревности к общему благу; едва ли кто-нибудь столь мало ослеплялся блеском венца и столь умел быть человеком на троне, как он!..

Но здесь имею нужду в твердости духа, чтобы сказать истину. Россия наполнена недовольными: жалуются в палатах и в хижинах, не имеют ни доверенности, ни усердия к правлению, строго осуждают его цели и меры. Удивительный государственный феномен!

Обыкновенно бывает, что преемник монарха жестокого легко снискивает всеобщее одобрение, смягчая правила власти: успокоенные кротостью Александра, безвинно не страшась ни Тайной канцелярии, ни Сибири и свободно наслаждаясь всеми позволенными в гражданских обществах удовольствиями, каким образом изъясним сие горестное расположение умов? Несчастливыми обстоятельствами Европы и важными, как думаю, ошибками правительства, ибо, к сожалению, можно

с добрым намерением ошибаться в средствах добра. Движимый любовью к общему благу, Александр хотел лучшего, советовался и учредил министерства, согласно с мыслями фельдмаршала Миниха и с системою правительств иностранных. [...] Министерские бюро заняли место коллегий. [...] Начали являться, одни за другими, комитеты: они служили сатирой на учреждение министерств, доказывая их недостаток для благоуспешного правления. [...]

Далее, основав бытие свое на развалинах коллегий, — ибо самая Военная и Адмиралтейская утратили важность свою в сем порядке вещей, — министры стали между государем и народом, заслоня Сенат, отнимая его силу и величие, хотя подводомые ему отчетами; но сказав: «Я имел счастье докладывать государю!» — заграждали уста сенаторам, а сия мнимая ответственность была доселе пустым обрядом. Указы, законы, предлагаемые министрами, одобряемые государем, сообщались Сенату только для обнародования. Выходило, что Россией управляли министры, т. е. каждый из них по своей части мог творить и разрушать. Спрашиваем: кто более заслуживает доверенность — один ли министр или собрание знатнейших государственных сановников, которое мы обыкли считать высшим правительством, главным орудием монаршей власти? Правда,

министры составляли между собою Комитет; ему надлежало одобрить всякое новое установление прежде, нежели оно утверждалось монархом; но сей Комитет не походит ли на Совет 6 или 7 разноземцев, из коих всякий говорит особенным языком, не понимая других. Министр морских сил обязан ли разуместь тонкости судебной науки, или правила государственного хозяйства, торговли и проч.?.. Еще важнее то, что каждый из них, имея нужду в сговорчивости товарищей для своих особенных выгод, сам делается сговорчив.

«Просим терпения», отвечают советники монарха: «мы изобретаем еще новый способ ограничить власть министров». Выходит учреждение Совета [...] Совет, говорят, будет уздою для министров. Император отдает ему рассматривать важнейшие их представления; но, между тем, они все будут править государством именем государя. Совет не вступается в обыкновенное течение дел, вопрошаемый единственно в случаях чрезвычайных, или в новых постановлениях, а сей обыкновенный порядок государственной деятельности составляет благо или зло нашего времени.

Спасительными уставами бывають единственно те, коих давно желают лучшие умы в государстве, и которые, так сказать, предчувствуются народом, будучи ближайшим

целебным средством на известное зло: учреждение министерств и Совета имело для всех действие внезапности [...].

Рассматривая таким образом сии новые государственные творения и видя их незрелость, добрые россияне жалеют о бывшем порядке вещей. С Сенатом, с коллегиями, с генерал-прокурором у нас шли дела, и прошло блестящее царствование Екатерины II. Все мудрые законодатели, принуждаемые изменять уставы политические, старались как можно менее отходить от старых. «Если число и власть сановников необходимо должны быть переменены, — говорит умный Макиавелли, — то удержите хотя имя их для народа». Мы поступаем совсем иначе: оставляем вещь, гоним имена, для произведения того же действия вымышляем другие способы! Зло, к которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового, а новому добру как-то не верится. Перемены сделанные не ручаются за пользу будущих: ожидают их более со страхом, нежели с надеждой, ибо к древним государственным зданиям прикасаться опасно. Россия же существует около 1000 лет и не в образе дикой Орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто бы мы недавно вышли из темных лесов американских! Требуем более мудрости хранительной, нежели

творческой. Если история справедливо осуждает Петра I за излишнюю страсть его к подражанию иноземным державам, то оно в наше время не будет ли еще страшнее? [...]

Мы читаем в прекрасной душе Александра сильное желание утвердить в России действие закона... Оставив прежние формы, но двигая, так сказать, оные постоянным духом ревности к общему добру, он скорее мог бы достигнуть сей цели и затруднил бы для наследников отступление от законного порядка. Гораздо легче отменить новое, нежели старое; гораздо легче придать важности Сенату, нежели дать важность нынешнему Совету в глазах будущего преемника Александрова; новости ведут к новостям и благоприятствуют необузданностям произвола.

Скажем ли, повторим ли, что одна из главных причин неудовольствия россиян на нынешнее правительство есть излишняя любовь его к государственным преобразованиям, которые потрясают основу империи, и коих благотворность остается доселе сомнительной. Теперь пройдем в мыслях некоторые временные и частные постановления Александрова царствования; посмотрим, какие меры брались в обстоятельствах важных и что было их следствием.

Наполеон, одним махом разрушив дотеле знаменитую державу прусскую, стремился к нашим

границам. Никто из добрых россиян не был покоен: все чувствовали необходимость усилий чрезвычайных и ждали, что сделает правительство. Выходит Манифест о милиции... Верю, что советники государевы имели доброе намерение, но худо знали состояние России. Вооружить 600 000 человек, не имея оружия в запасе! Прокормить их без средства везти хлеб за ними, или изготовить его в тех местах, куда им идти (не?) надлежало! [...]

Сию статью заключу особенным примечанием. Во время милиции все жаловались на недостаток оружия и винули беспечность начальства: не знаю, воспользовались ли мы опытом для нашей будущей безопасности? [...] Все намерения Александровы клонятся к общему благу. Гнушаясь бессмысленным правилом удержат умы в невежестве, чтобы властвовать тем спокойнее, он употребил миллионы для основания университетов, гимназий, школ... К сожалению, видим более убытка для казны, нежели выгод для Отечества. Выписали профессоров, не приготовив учеников; между первыми много достойных людей, но мало полезных; ученики не разумеют иноземных учителей, ибо худо знают язык латинский, и число их так невелико, что профессеры теряют охоту ходить в классы.

Вся беда от того, что мы образовали свои университеты по немецким, не рассудив, что здесь

иные обстоятельства. В Лейпциге, в Геттингене надобно профессору только стать на кафедру — зал наполнится слушателями. У нас нет охотников для высших наук. Дворяне служат, а купцы желают знать существенно арифметику, или языки иностранные для выгоды своей торговли. В Германии сколько молодых людей учатся в университетах для того, чтобы сделаться адвокатами, судьями, пасторами, профессорами! — наши стряпчие и судьи не имеют нужды в знании римских прав; наши священники образуются кое-как в семинариях и далее не идут, а выгоды ученого состояния в России так еще новы, что отцы не вдруг еще решатся готовить детей своих для оного. Вместо 60 профессоров, приехавших из Германии в Москву и другие города, я вызвал бы не более 20 и не пожалел бы денег для умножения числа казенных питомцев в гимназиях; скудные родители, отдавая туда сыновей, благословляли бы милость государя, и призренная бедность чрез 10, 15 лет произвела бы в России ученое состояние. Смею сказать, что нет иного действительнейшего средства для успеха в сем намерении. Строить, покупать дома для университетов, заводить библиотеки, кабинеты, ученые общества, призывать знаменитых иноземных астрономов, филологов — есть пускать в глаза пыль. Чего не преподают ныне даже в Харькове и Казани? А в Москве с

величайшим трудом можно найти учителя для языка русского, а в целом государстве едва ли найдешь человек 100, которые совершенно знают правописание, а мы не имеем хорошей грамматики [...]

Заметим также некоторые странности в сем новом образовании ученой части. Лучшие профессора, коих время должно быть посвящено науке, занимаются подрядами свеч и дров для университета! В сей круг хозяйственных забот входит еще содержание ста, или более, училищ, подведомых университетскому Совету. Сверх того, профессора обязаны ежегодно ездить по губерниям для обозрения школ... Сколько денег и трудов потерянных! Прежде хозяйство университета зависело от его особой канцелярии — и гораздо лучше [...]

Сделав многое для успеха наук в России и с неудовольствием видя слабую ревность дворян в снискании ученых сведений в университетах, правительство желало принудить нас к тому и выдало несчастный Указ об экзаменах. Отныне никто не должен быть произведен ни в статские советники, ни в асессоры без свидетельства о своей учености.

Доселе в самых просвещенных государствах требовалось от чиновников только необходимого для их службы знания: науки инженерной — от

инженера, законоведения — от судьи и проч. У нас председатель Гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский — свойство кислорода и всех газов. Вице-губернатор — пифагорову фигуру, надзиратель в доме сумасшедших — римское право, или умрут коллежскими и титулярными советниками. Ни 40-летняя деятельность государственная, ни важные заслуги не освобождают от долга знать вещи, совсем для нас чуждые и бесполезные. Никогда любовь к наукам не производила действия, столь несогласного с их целью! Забавно, что сочинитель сего Указа, предписывающего всем знать риторику, сам делает в нем ошибки грамматические!.. Не будем говорить о смешном; заметим только вредное.

Доныне дворяне и не дворяне в гражданской службе искали у нас чинов или денег; первое побуждение невинно, второе опасно: ибо умеренность жалованья производит в корыстолюбивых охоту мздоимства. Теперь, не зная ни физики, ни статистики, ни других наук, для чего будут служить титулярные и коллежские советники? Лучшие, т. е. честолюбивые, возьмут отставку, худшие, т. е. корыстолюбивые, останутся драть кожу с живого и мертвого.

Законодатель должен смотреть на вещи с разных сторон, а не с одной; иначе, пресекая зло,

может сделать еще более зла. Так, нынешнее правительство имело, как уверяют, намерение дать господским людям свободу.

Должно знать происхождение сего рабства. В девятом, десятом, первом-на-десять веке были у нас рабами одни холопы, т. е. или военнопленные и купленные чужеземцы, или преступники, законом лишенные гражданства, или потомки их; но богатые люди, имея множество холопей, населяли ими свои земли: вот первые, в нынешнем смысле, крепостные деревни. Сверх того, владелец принимал к себе вольных хлебопашцев в кабалу на условиях, более или менее стеснявших их естественную и гражданскую свободу; некоторые, получая от него землю, обязывались и за себя, и за детей своих служить ему вечно — вторая причина сельского рабства!

Другие же крестьяне, и большая часть, нанимали землю у владельцев только за деньги, или за определенное количество хлеба, имея право по истечении урочного времени идти в другое место. Сии свободные переходы имели свое неудобство: вельможи и богатые люди сманивали к себе вольных крестьян от владельцев малосильных, которые, оставаясь с пустою землею, лишались способа платить государственные повинности. Царь Борис отнял первый у всех крестьян волю переходить с места на место, т. е. укрепил их за

господами, — вот начало общего рабства. Сей устав изменялся, ограничивался, имел исключения и долгое время служил поводом к тяжбам, наконец, утвердился во всей силе — и древнее различие между крестьянами и холопами совершенно исчезло [...].

Что значит освободить у нас крестьян? Дать им волю жить, где угодно, отнять у господ всю власть над ними, подчинить их одной власти правительства. Хорошо. Но сии земледельцы не будут иметь земли, которая — в чем не может быть и спора — есть собственность дворянская. Они или останутся у помещиков, с условием платить им оброк, обрабатывать господские поля, доставлять хлеб куда надобно, одним словом, для них работать, как и прежде, — или, недовольные условиями, пойдут к другому, умереннейшему в требованиях, владельцу. В первом случае, надеясь на естественную любовь человека к родине, господа не предпишут ли им самых тягостных условий? Дотоле щадили они в крестьянах свою собственность, — тогда корыстолюбивые владельцы захотят взять с них все возможное для сил физических: напишут контракт, и земледельцы не исполнят его, — тяжбы, вечные тяжбы!.. Во втором случае, буде крестьянин ныне здесь, а завтра там, казна не потерпит ли убытка в сборе подушных денег и других податей? Не потерпит ли

и земледелие? Не останутся ли многие поля не обработанными, многие житницы пустыми?

Освобожденные от надзора господ, имевших собственную земскую исправу, или полицию, гораздо деятельнейшую всех земских судов, станут пьянствовать, злодействовать, — какая богатая жатва для кабаков и мздоимных исправников, но как худо для нравов и государственной безопасности! [...]

Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу (ибо тогдашние обстоятельства не совершенно известны), но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Тогда они имели навык людей вольных — ныне имеют навык рабов. Мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой надобно готовить человека исправлением нравственным, а система наших винных откупов и страшные успехи пьянства служат ли к тому спасительным приготовлением? В заключение скажем доброму монарху: «Государь! История не упрекнет тебя злом, которое прежде тебя существовало (положим, что неволя крестьян и есть решительное зло), — но ты будешь отвечать Богу, совести и потомству за всякое вредное следствие твоих собственных Уставов».

Не осуждаю Александрова закона, дающего

право селениям откупаться от господ с их согласия; но многие ли столь богаты? Многие ли захотят отдать последнее за вольность? Крестьяне человеколюбивых владельцев довольны своею участью; крестьяне худых — бедны: то и другое мешает успеху сего закона.

К важнейшим действиям нынешнего царствования относятся меры, взятые для уравнивания доходов с расходами, для приведения в лучшее состояние торговли и вообще государственного хозяйства [...] Умножать государственные доходы новыми налогами есть способ весьма ненадежный и только временный. Земледелец, заводчик, фабрикант, обложенные новыми податями, всегда возвышают цены на свои произведения, необходимые для казны, и чрез несколько месяцев открываются в ней новые недостатки [...].

Искренно хваля правительство за желание способствовать в России успехам земледелия и скотоводства, похвалим ли за бережливость? Где она? В уменьшении дворцовых расходов? Но бережливость государя не есть государственная!

Александра называют даже скупым; но сколько изобретено новых мест, сколько чиновников ненужных! Здесь три генерала стерегут туфли Петра Великого; там один человек берет из 5 мест жалованье; всякому — столовые деньги;

множество пенсий излишних; дают займы без отдачи и кому? — богатым людям! Обманывают государя проектами, заведениями на бумаге, чтобы грабить казну... Непрестанно на государственное иждивение ездят инспекторы, сенаторы, чиновники, не делая ни малейшей пользы своими объездами; все требуют от императора домов — и покупают оные двойною ценою из сумм государственных, будто бы для общей, а в самом деле для частной выгоды, и проч., и проч. Одним словом, от начала России не бывало государя, столь умеренного в своих особенных расходах, как Александр, — и царствования, столь расточительного, как его! В числе таких несообразностей заметим, что мы, предписывая дворянству бережливость в указах, видим гусарских армейских офицеров в мундирах, облитых серебром и золотом! Сколько жалованья сим людям? И чего стоит мундир? Полки красятся не одеждою, а делами.

Мало остановить некоторые казенные строения и работы, [...] — не надобно тешить бесстыдного корыстолюбия многих знатных людей, надобно бояться всяких новых штатов, уменьшить число тунеядцев на жалованье, отказывать невеждам, требующим денег для мнимого успеха наук, и, где можно, ограничить роскошь самых частных людей, которая в нынешнем состоянии

Европы и России вреднее прежнего для государства [...]

Уже царь Федор Алексеевич видел недостаток Уложения, — вышли новые статьи в прибавление. Петр Великий, все обнимая, хотел полной книги законов и собственною рукою написал о том Указ Сенату, желая, чтобы правила оных были утверждены по основательном рассмотрении всех наших и чужестранных Гражданских уставов. Екатерина Первая несколько раз побуждала Сенат заниматься сим важным делом. Петр II указал из каждой губернии прислать для оного в Москву по несколько выборных дворян, знающих, благомысленных. Императрица Анна присоединила к ним и выборных из купечества, но граф Остерман в наставлении Правительнице говорит: «Уже более 20 лет трудятся при Сенате над сочинением книги законов, а едва ли будет успех, если не составят особенной для того комиссии из двух особ духовных, пяти или шести дворян, граждан и некоторых искусных законоведцев...».

Прошло и царствование Елизаветы, миновал и блестящий век Екатерины II, а мы еще не имели Уложения, несмотря на добрую волю правительства, на учреждение в 1754 г. особенностей Законодательной комиссии, на план Уложения, представленный ею Сенату, несмотря на шумное собрание депутатов в Москве, на

красноречивый Наказ Екатерины II, испещренный выписками из Монтескье и Беккари. Чего не доставало? Способных людей!.. Были ли они в России? По крайней мере, их не находили, может быть, худо искали!

Александр, ревностный исполнить то, чего все монархи российские желали, образовал новую Комиссию: набрали многих секретарей, редакторов, помощников, не сыскали только одного и самого необходимейшего человека, способного быть ее душою, изобрести лучший план, лучшие средства и привести оные в исполнение наилучшим образом [...] Что ж находим?.. Перевод Наполеонова Кодекса!

Какое изумление для россиян! Какая пища для злословия! [...] Оставляя все другое, спросим: время ли теперь предлагать россиянам законы французские, хотя бы оные и могли быть удобно применены к нашему гражданственному состоянию? Мы все, все любящие Россию, государя, ее славу, благоденствие, так ненавидим сей народ, обогранный кровью Европы, осыпанный прахом столь многих держав разрушенных, и, в то время, когда имя Наполеона приводит сердца в содрогание, мы положим его Кодекс на святой алтарь Отечества? [...] Но думаю, что лучше начать с важнейшего и последовать не Кодексу Наполеонову, не Фридрихову, а Юстинианову и

царя Алексея Михайловича [...] Сей труд велик, но он такого свойства, что его нельзя поручить многим. Один человек должен быть главным, истинным творцом Уложения Российского; другие могут служить ему только советниками, помощниками, работниками... Здесь единство мысли необходимо для совершенства частей и целого; единство воли необходимо для успеха. Или мы найдем такого человека, или долго будем ждать Кодекса!

Есть и другой способ. Мы говорили доселе о систематическом законодательстве: когда у нас нет людей, способных для оногo, то умерьте свои требования, и вы сделаете еще немалую пользу России. Вместо прагматического Кодекса издайте полную сводную книгу российских законов или указов по всем частям судным, согласив противоречия и заменив лишнее нужным, чтобы судьи по одному случаю не ссылались и на Уложение царя Алексея Михайловича, и на Морской устав, и на 20 указов, из коих иные в самом Сенате не без труда отыскиваются. Для сей сводной книги не требуется великих усилий разума, ни гения, ни отличных знаний ученых. Не будем хвалиться ею в Европе, но облегчим способы правосудия в России, не затрудним судей наших галлицизмом и не покажемся жалкими иностранцам, что, без сомнения, заслужим

переводом Наполеонова Кодекса.

Прибавим одну мысль к сказанному нами о российском законодательстве. Государство наше состоит из разных народов, имеющих свои особенные Гражданские уставы, как Ливония, Финляндия, Польша, самая Малороссия. Должно ли необходимо ввести единство законов?..

Должно, если такая перемена не будет существенным, долговременным бедствием для сих областей — в противном случае, не должно. Всего лучше готовить оную издали, средствами предварительными, без насилия и действуя на мягкий ум юношества. Пусть молодые люди, хотящие там посвятить себя законоведению, испытываются в знании и общих законов российских, особенно языка нашего; вот — самое лучшее приготовление к желаемому единству в Гражданских уставах! Впрочем, надобно исследовать основательно, для чего, например, Ливония или Финляндия имеют такой-то особенный закон? Причина, родившая оный, существует ли и согласна ли с государственным благом? Буде существует и согласна, то можно ли заменить ее действия иным способом? От новости не потерпят ли нравы, не ослабеют ли связи между разными гражданскими состояниями той земли?.. Опасайтесь внушения умов легких, которые думают, что надобно только велеть — и все

сравнивается!

Мы означили главные действия нынешнего правительства и неудачу их. Если прибавим к сему частные ошибки министров в мерах государственного блага: постановление о соли, о суконных фабриках, о прогоне скота, — имевшие столь много вредных следствий — всеобщее бесстрашие, основанное на мнении о кротости государя, равнодушие местных начальников ко всяким злоупотреблениям, грабеж в судах, наглое взяточничество капитан-исправников, председателей палатских, вице-губернаторов, а всего более самих губернаторов, наконец, беспокойные виды будущего, внешние опасности, — то удивительно ли, что общее мнение столь не благоприятствует правительству?

Не будем скрывать зла, не будем обманывать себя и государя, не будем твердить, что люди, обыкновенно, любят жаловаться и всегда недовольны настоящим, — сии жалобы разительны их согласием и действием на расположение умов в целом государстве.

Я совсем не меланхолик, и не думаю подобно тем, которые, видя слабость правительства, ждут скорого разрушения, — нет! Государства живущи и в особенности Россия, движимая самодержавною властью! Если не придут к нам беды извне, то еще смело можем и долгое время заблуждаться в нашей

внутренней государственной системе! Вижу еще обширное поле для всяких новых творений самолюбивого, неопытного ума, но не печальна ли сия возможность? Надобно ли изнурять силы для того, что их еще довольно в запасе? Самым худым медикам нелегко уморить человека крепкого сложения, только всякое лекарство, данное некстати, делает вред существенный и сокращает жизнь.

Мы говорили о вреде, говорить ли о средствах целебных? И какие можем предложить? — самые простейшие!

Минувшего не возвратить. Было время (о чем мы сказали в начале), когда Александр мог бы легко возобновить систему Екатеринина царствования, еще живого в памяти и в сердцах, по ней образованных: бурное царствование Павлово изгладилось бы, как сновидение в мыслях. Теперь поздно — люди и вещи, большею частью, переменились; сделано столько нового, что и старое показалось бы нам теперь опасною новостью: мы уже от него отвыкли, и, для славы государя, вредно с торжественностью признаваться в десятилетних заблуждениях, произведенных самолюбием его весьма неглубокомысленных советников, которые хотели своею творческою мудростью затмить жену Екатерину и превзойти мужа Петра. Дело сделано: надобно искать средств, пригоднейших к

настоящему.

Главная ошибка законодателей сего царствования состоит в излишнем уважении форм государственной деятельности: от того — изобретение различных министерств, учреждение Совета и проч. Дела не лучше производятся — только в местах и чиновниками другого названия. Последуем иному правилу и скажем, что не формы, а люди важны. Пусть министерства и Совет существуют: они будут полезны, если в министерстве и в Совете увидим только мужей, знаменитых разумом и честью.

Итак, первое наше доброе желание есть, да способствует Бог Александру в счастливом избрании людей! Такое избрание, а не учреждение Сената с коллегиями ознаменовало величие царствование Петра во внутренних делах империи. Сей монарх имел страсть к способным людям, искал их в кельях монастырских и в темных каютах: там нашел Феофана и Остермана, славных в нашей государственной истории. Обстоятельства иные и скромные, тихие свойства души отличают Александра от Петра, который везде был сам, со всеми говорил, всех слушал и брал на себя по одному слову, по одному взору решить достоинство человека; но да будет то же правило: искать людей! Кто имеет доверенность Государя, да замечает их вдали для самых первых мест. Не только в

республиках, но и в монархиях кандидаты должны быть назначены единственно по способностям. Всемогушая рука единовластителя одного ведет, другого мчит на высоту; медленная постепенность есть закон для множества, а не для всех. Кто имеет ум министра, не должен поседеть в столоначальниках или секретарях.

Чины унижаются не скорым их приобретением, но глупостью или бесчестием сановников; возбуждается зависть, но скоро умолкает пред лицом достойного. Вы не образуете полезного министерства сочинением Наказа, — тогда образуете, когда приготовите хороших министров. Совет рассматривает их предложение, но уверены ли вы в мудрости его членов?

Общая мудрость рождается только от частной. Одним словом, теперь всего нужнее люди!

Но люди не только для министерства, или Сената, но и в особенности для мест губернаторских. Россия состоит не из Петербурга и не из Москвы, а из 50 или более частей, называемых губерниями; если там пойдут дела как должно, то министры и Совет могут отдыхать на лаврах; а дела пойдут как должно, если вы найдете в России 50 мужей умных, добросовестных, которые ревностно станут блюсти вверенное каждому из них благо полумиллиона россиян, обуздают хищное корыстолюбие нижних

чиновников и господ жестоких, восстановят правосудие, успокоят земледельцев, ободрят купечество и промышленность, сохранят пользу казны и народа. Если губернаторы не умеют или не хотят делать того, — виною худое избрание лиц; если не имеют способа, — виною худое образование губернских властей.

1) Каковы ныне, большею частью, губернаторы? Люди без способностей, и дают всякую неправдою наживаться секретарям своим — или без совести и сами наживаются. Не выезжая из Москвы, мы знаем, что такой-то губернии начальник — глупец и весьма давно! а такой-то — грабитель, и весьма давно!.. Слухом земля полнится, а министры не знают того, или знать не хотят! К чему же служат ваши новые министерские образования? К чему писать законы, разве для потомства? Не бумаги, а люди правят.

2) Прежде начальник губернии знал над собою один Сенат; теперь, кроме Сената, должен относиться к разным министерствам! Сколько хлопот и письма!.. А всего хуже то, что многие части в составе губерний не принадлежат к его ведомству: школы, удельные имения, казенные леса, дороги, воды, почта — сколько пестроты и многочисленности!.. Выходит, что губерния имеет не начальника, а начальников, из коих один в Петербурге, другие в Москве...

Система правления весьма не согласная с нашею старинною, истинно-монархическою, которая соединяла власти в наместнике для единства и силы в их действиях. Всякая губерния есть Россия в малом виде; мы хотим, чтобы государство управлялось единою, а каждая из частей оного — разными властями; страшимся злоупотреблений в общей власти, но частная разве не имеет их? Как в большом доме не может быть исправности без домоправителя, дающего во всем отчет господину, так не будет совершенно порядка и в губерниях, пока столь многие чиновники действуют независимо от губернаторов, ответствующих государю за спокойствие государства и, гораздо более, всех живущих в Петербурге министров, членов Совета, сенаторов.

Одна сия мысль не убеждает ли в необходимости возвысить сан губернаторский всеобщим уважением? Да будет губернатор, что были наместники при Екатерине! Дайте им достоинство сенаторов, согласите оное со отношениями их к министрам, которые в самом деле должны быть единственно секретарями государя по разным частям, и тогда умеете только избирать людей! Вот главное правило.

Второе, не менее существенное, есть: умеете обходиться с людьми! Мало ангелов на свете, не так много и злодеев, гораздо более смеси, т. е.

добрых и худых вместе. Мудрое правление находит способ усиливать в чиновниках побуждение добра или обуздывает стремление ко злу. Для первого есть награды, отличия, для второго боязнь наказаний. Кто знает человеческое сердце, состав и движение гражданских обществ, тот не усомнится в истине сказанного Макиавелли, что страх гораздо действительнее, гораздо обыкновеннее всех иных побуждений для смертных.

Если вы, путешествуя, увидите землю, где все тихо и стройно, народ доволен, слабый не утеснен, невинный безопасен, — то скажете смело, что в ней преступления не остаются без наказания. Сколько агнцев обратилось бы в тигров, если бы не было страха! Любить добро для его собственных прелестей есть действие высшей нравственности — явления, редкого в мире: иначе не посвящали бы алтарей добродетели. Обыкновенные же люди соблюдают правила честности, не столько в надежде приобрести тем особенные некоторые выгоды, сколько опасаясь вреда, сопряженного с явным нарушением сих правил.

Одно из важнейших государственных зол нашего времени есть бесстрашие. Везде грабят, и кто наказан? Ждут доносов, улики, посылают сенаторов для исследования, и ничего не выходит! Доносят плуты — честные терпят и молчат, ибо любят покой. Не так легко уличить искусного

вора-судью, особенно с нашим законом, по коему взяточбратель и взятодатель равно наказываются. Указывают пальцем на грабителей — и дают им чины, ленты, в ожидании, чтобы кто на них подал жалобу. А сии недостойные чиновники, в надежде на своих, подобных им, защитников в Петербурге, беззаконствуют, смело презирая стыд и доброе имя, коего они условно лишились. В два или три года наживают по несколько сот тысяч и, не имев прежде ничего, покупают деревни!

Иногда видим, что государь, вопреки своей кротости, бывает расположен и к строгим мерам: он выгнал из службы двух или трех сенаторов и несколько других чиновников, оглашенных издоимцами; но сии малочисленные примеры ответственны ли бесчисленности нынешних издоимцев? Негодяй так рассуждает: «Брат мой N.N. наказан отставкою; но собратья мои, такие-то, процветают в благоденствии: один многим не указ, а если меня и выгонят из службы, то с богатым запасом на черный день, — еще найду немало утешений в жизни!»

Строгость, без сомнения, неприятна для сердца чувствительного, но где она необходима для порядка, там кротость не у места. Как живописцы изображают монарха? Воином и с мечом в руке — не пастушком и не с цветами!.. В России не будет правосудия, если государь, поручив оное

судилищам, не будет смотреть за судьями. У нас не Англия; мы столько веков видели судью в монархе и добрую волю его признавали вышним уставом. Сирены могут петь в круге трона: «Александр, воцари закон в России... и проч.»...

Я возьмусь быть толкователем сего хора: «Александр! Дай нам, именем закона, господствовать над Россией, а сам покойся на троне, изливай единственно милости, давай нам чины, ленты, деньги!»... В России государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит, и любовь первых приобретается страхом последних. Не боятся государя — не боятся и закона! В монархе российском соединяются все власти: наше правление есть отеческое, патриархальное. Отец семейства судит и наказывает без протокола, — так и монарх в иных случаях должен необходимо действовать по единой совести. Чего Александр не сведает, если захочет ведать? И да накажет преступника! Да накажет и тех, которые возводят его на степень знаменитую! Да ответствует министр, по крайней мере, за избрание главных чиновников! Спасительный страх должен иметь ветви; где десять за одного боятся, там десять смотрят за одним...

Начинайте всегда с головы: если худы капитан-исправники — виновны губернаторы, виновны министры!.. Не сему правилу следовали

те, которые дали государю совет обесчестить снятием мундира всех комиссариатских и провиантских чиновников, кроме начальников. Равные не могут ответственать друг за друга; если они все причиною бедствий армии, то мало лишить их мундира; если еще не доказаны виноватые, то надобно подождать, а казнь виновного вместе с правым отнимает стыд у казни. Малейшее наказание, но бесполезное, ближе к тиранству, нежели самое жестокое, коего основанием есть справедливость, а целью — общее добро. Ненавидят тирана, но мягкосердие тогда есть добродетель в венценосце, когда он умеет превозмогать оное долгом благоразумной строгости.

Единственно в своих личных, тайных оскорблениях государь может прощать достохвально, а не в общественных; когда же вредно часто прощать, то еще вреднее терпеть, — в первом случае винят слабость, во втором — беспечность или непроницание. Мы упомянули о личных оскорблениях для монарха. Они редко бывают без связи со вредом государственным. Так, например, не должно позволять, чтоб кто-нибудь в России смел торжественно представлять лицо недовольного или не уважать монарха, коего священная особа есть образ отечества. Дайте волю людям — они засыплют Вас пылью! Скажите им

слово на ухо — они лежат у ног Ваших!

Говорив о необходимости страха для удержания нас от зла, скажем нечто о наградах: они благодетельны своею умеренностью, — в противном же случае делаются или бесполезны, или вредны. Я вижу всех генералов, осыпанных звездами, и спрашиваю: «Сколько побед мы одержали? Сколько царств завоевали?..» Ныне дают голубую ленту — завтра лишают начальства!.. Сей, некогда лестный, крест Св. Георгия висит на знаменитом ли витязе? Нет, на малодушном и презренном в целой армии! Кого же украсит теперь Св. Георгий? Если в царствование Павла чины и ленты упали в достоинстве, то в Александрово, по крайней мере, не возвысились, чего следствием было и есть — требовать иных наград от государя, денежных, ко вреду казны и народа, ко вреду самых государственных добродетелей. О бережливости говорили мы в другом месте.

Здесь напомним две аксиомы: 1) за деньги не делается ничего великого; 2) изобилие располагает человека к праздной неге, противной всему великому. Россия никогда не славилась богатством — у нас служили по должности, из чести, из куса хлеба, не более! Ныне не только воинские, но и гражданские чиновники хотят жить большим домом на счет государства. И какая пестрота: люди в одном чине имеют столь различные жалованья,

что одному нечего есть, а другой может давать лакомые обеды; ибо первый служит по старым, а второй по новым штатам, — первый в Сенате, в губернии, а второй — у министра в канцелярии, или где-нибудь в новом месте. Не думают о бедных офицерах, удовлетворяя корыстолюбие генералов арендами и пенсиями. Ставят в пример французов — для чего же не русских времени Петрова или Екатерины?..

Но и французские генералы всего более недовольны Наполеоном за то, что он, дав им богатство, отнимает у них досуг и способ наслаждаться оным. Честь, честь должна быть главною наградою! Римляне с дубовыми венками завоевали мир. Люди в главных свойствах не изменились; соедините с каким-нибудь знаком понятие о превосходной добродетели, т. е. награждайте им людей единственно превосходных, — и вы увидите, что все будут желать оногo, несмотря на его ничтожную денежную цену!.. Слава Богу, мы еще имеем честолубие, еще слезы катятся из глаз наших при мысли о бедствиях России; в самом множестве недовольных, в самых нескромных жалобах на правительство вы слышите нередко голос благодарной любви к отечеству. Есть люди, умеете только обуздать их в зле и поощрять к добру благоразумною системою наказаний и наград! Но,

повторим, первое еще важнее.

Сие искусство избирать людей и обходиться с ними есть первое для государя российского; без сего искусства тщетно будете искать народного блага в новых органических уставах!.. Не спрашивайте: как писаны законы в государстве? сколько министров? есть ли Верховный Совет? Но спрашивайте: каковы судьи? Каковы властители?.. фразы — для газет, только правила — для государства.

В дополнение сказанного нами, прибавим некоторые особенные замечания.

Самодержавие есть палладиум России; целость его необходима для ее счастья; из сего не следует, чтобы государь, единственный источник власти, имел причины унижать дворянство, столь же древнее, как и Россия. Оно было всегда не что иное, как братство знаменитых слуг великокняжеских или царских. Худо, ежели слуги овладеют слабым господином, но благоразумный господин уважает отборных слуг своих и красится их честью. Права благородных суть не отдел монаршей власти, но ее главное, необходимое орудие, двигающее состав государственный [...].

Дворянство есть наследственное; порядок требует, чтобы некоторые люди воспитывались для отправления некоторых должностей и чтобы монарх знал, где ему искать деятельных слуг

отечественной пользы. Народ работает, купцы торгуют, дворяне служат, награждаемые отличиями и выгодами, уважением и достатком. Личные подвижные чины не могут заменить дворянства родового, постоянного, и, хотя необходимы для означения степеней государственной службы, однако ж в благополучной монархии не должны ослаблять коренных прав его, не должны иметь выгод оною. Надлежало бы не дворянству быть по чинам, но чинам по дворянству, т. е. для приобретения некоторых чинов надлежало бы необходимо требовать благородства, чего у нас со времен Петра Великого не соблюдается: офицер уже есть дворянин. Не должно для превосходных дарований, возможных во всяком состоянии, заграждать пути к высшим степеням, — но пусть государь дает дворянство прежде чина и с некоторыми торжественными обрядами, вообще редко и с выбором строгим.

Польза ощутительна: 1) Если часто будете выводить простолудинов в министры, в вельможи, в генералы, то с знатностью приведется давать им и богатство, необходимое для ее сияния, — казна истощается... Напротив того, дворяне, имея наследственный достаток, могут и в высших чинах обойтись без казенных денежных пособий. 2) Оскорбляете дворянство, представляя ему людей низкого происхождения на ступенях трона, где мы

издревле обыкли видеть бояр сановитых. Ни слова, буде сии люди ознаменованы способностями редкими, выпренными; но буде они весьма обыкновенны, то лучше, если бы сии высшие места занимались дворянами. 3) Природа дает ум и сердце, но воспитание образует их. Дворянин, благодетельствованный судьбою, навикает от самой колыбели уважать себя, любить Отечество и государя за выгоды своего рождения, пленяться знатностью — уделом его предков, и наградою личных будущих заслуг его. Сей образ мыслей и чувствований дает ему то благородство духа, которое, сверх иных намерений, было целью при учреждении наследственного дворянства, — преимущество важное, редко заменяемое естественными дарами простолюдина, который, в самой знатности, боится презрения, обыкновенно не любит дворян и мыслит личною надменностью изгладить из памяти людей свое низкое происхождение.

Добродетель редка. Ищите в свете более обыкновенных, нежели превосходных душ. Мнение не мое, но всех глубокомысленных политиков есть, что твердо основанные права благородства в монархии служат ей опорю. Итак, желаю, чтобы Александр имел правилом возвышать сан дворянства, коего блеск можно назвать отливом царского сияния, — возвышать не только

государственными хартиями, но и сими, так сказать, невинными, легкими знаками внимания, столь действительными в самодержавии. Например, для чего императору не являться иногда в торжественных Собраниях дворянства в виде его главы, и не в мундире офицера гвардейского, а в дворянском? Сие произвело бы гораздо более действия, нежели письмо красноречивое и словесные уверения в монаршем внимании к обществу благородных; но ничем Александр не возвысил бы оногo столь ощутительно, как законом принимать всякого дворянина в воинскую службу офицером, требуя единственно, чтобы он знал начала математики и русский язык с правильностью... Давайте жалованье только комплектным, — все благородные, согласно с пользою монархии, основанной на завоеваниях, возьмут тогда шпагу в руки вместо пера, коим ныне, без сомнения, ко вреду государственному и богатые, и небогатые дворяне вооружают детей своих в канцеляриях, в архивах, в судах, имея отвращение от солдатских казарм, где сии юноши, деля с рядовыми воинами и низкие труды, и низкие забавы, могли бы потерпеть и в здоровьи, и в нравственности. В самом деле, чего нужного для службы нельзя узнать офицером? Учиться же для дворянина гораздо приятнее в сем чине, нежели в унтер-офицерском. Армии наши обогатились бы

молодыми, хорошо воспитанными дворянами, тоскующими ныне в полатыях. Гвардия осталась бы исключением — единственно в ней начинали бы мы служить с унтер-офицеров.

Но и в гвардии надлежало бы отличать сержанта благородного от сына солдатского. Можно и должно смягчать суровость воинской службы там, где суровость не есть способ победы. Строгость в безделицах уменьшает охоту к делу. Занимайте, но не утомляйте воинов игрушками, или вахт-парадами. Действуйте на душу еще более, нежели на тело. Герои вахт-парада оказываются трусами на поле битвы; сколько знаем примеров! Офицеры Екатеринина века ходили иногда во фраках, но ходили смело и на приступы. Французы не педантствуют — и побеждают. Мы видели прусских героев!

Как дворянство, так и духовенство бывает полезно государству по мере общего к ним народного уважения. Не предлагаю восстановить Патриаршество, но желаю, чтоб Синод имел более важности в составе его и в действиях; чтобы в нем заседали, например, одни архиепископы; чтоб он, в случае новых коренных государственных постановлений, сходился вместе с Сенатом для выслушания, для принятия оных в свое хранилище законов и для обнародования, разумеется, без всякого противоречия.

Ныне стараются о размножении духовных училищ, но будет еще похвальнее закон, чтобы 18-летних учеников не ставить в священники и никого без строгого испытания, — закон, чтобы иереи более пеклись о нравственности прихожан, употребляя на то данные им от Синода благоразумные, действительные средства, о коих мыслил и государь Петр Великий. По характеру сих важных духовных сановников можете всегда судить о нравственном состоянии народа. Не довольно дать России хороших губернаторов — надобно дать и хороших священников; без прочего обойдемся и не будем никому завидовать в Европе.

Дворянство и духовенство, Сенат и Синод как хранилище законов, над всеми — государь, единственный законодатель, единовластный источник властей. Вот основание российской монархии, которое может быть утверждено или ослаблено правилами царствующих. Державы, подобно людям, имеют определенный век свой: так мыслит философия, так вещает история. Благоразумная система в жизни продолжает век человека, — благоразумная система государственная продолжает век государств; кто исчислит грядущие лета России? Слышу пророков близкоконечного бедствия, но, благодаря Всевышнего, сердце мое им не верит, — вижу опасность, но еще не вижу гибели! Еще Россия

имеет 40 миллионов жителей, и самодержавие имеет государя, ревностного к общему благу. Если он, как человек, ошибается, то, без сомнения, с добрым намерением, которое служит нам вероятностью будущего исправления ошибок.

Если Александр вообще будет осторожнее в новых государственных творениях, стараясь всего более утвердить существующие и думая более о людях, нежели о формах, ежели благоразумною строгостью обратит вельмож, чиновников к ревностному исполнению должностей; если заключит мир с Турцией и спасет Россию от третьей, весьма опасной, войны с Наполеоном, хотя бы и с утратою многих выгод так называемой чести, которая есть только роскошь сильных государств и не равняется с первым их благом, или с целостью бытия; если он, не умножая денег бумажных, мудрою бережливостью уменьшит расходы казны и найдет способ прибавить жалованья бедным чиновникам воинским и гражданским; если таможенные Уставы, верно наблюдаемые, приведут в соразмерность ввоз и вывоз товаров; если — что в сем предположении будет необходимо — дороговизна мало-помалу уменьшится, то Россия благословит Александра, колебания утихнут, неудовольствия исчезнут, родятся нужные для государства привычки, ход вещей делается правильным, постоянным; новое и

старое сольются в одно, реже и реже будут вспоминать прошедшее, злословие не умолкнет, но лишится жала!.. Судьба Европы теперь не от нас зависит. Переменит ли Франция свою ужасную систему, или Бог переменит Францию, — неизвестно, но бури не вечны! Когда же увидим ясное небо над Европой и Александра, сидящего на троне целой России, тогда восхвалим Александрово счастье, коего он достоин своею редкою добротой!

Любя Отечество, любя монарха, я говорил искренно.

Возвращаюсь к безмолвию верноподданного с сердцем чистым, моля Всевышнего, да блюдет царя и Царство Российское!»

Александр, прочитав «Записку», был рассержен. И этого человека он прочил в министры! Хорошо, Сперанский отговорил! Правильно сказал: не справится. Тильзитский мир он считал вовсе не позорным и не пагубным, а едва ли не успехом русской дипломатии. А некоторое несоответствие денег с их реальной стоимостью смущало императора еще меньше. Система образования, на его взгляд, значительно улучшилась. Законодательство тоже приходило в европейскую норму.

Болезненнее всего задел Карамзин его крестьянским вопросом. По этому вопросу

работало много тогдашних «креативщиков». Но проект буксовал. Утверждение же историографа, что крестьян вообще лучше ни на какую волю не отпускать, ему и вовсе не понравилось. Александр считал себя либералом. И знал, что крестьян нужно отпустить. Вопрос стоял по-другому — как? Вывод Карамзина его покорибил: выходило, что за десятилетие власти он ничего толком не сделал, а только разрушил то, что пыталась создать Екатерина.

Так открыто, жестоко и так (как казалось царю) несправедливо с ним не говорил еще никто из приближенных. И потребовалось время, чтобы император простил Карамзину эту резкость и обличительную страсть. За это время он успел разочароваться в реформах и в Сперанском, отправив последнего в ссылку. То, что творилось в государственных учреждениях, царю нравилось все меньше. Правда Карамзина была налицо. Из хорошей затеи на деле получались не учреждения, а мертворожденные уродцы...

К 1812 году Александр вновь вернул расположение к Карамзину. Он даже думал назначить его государственным секретарем (впрочем, на это место впоследствии был определен Шишков). Карамзин так никогда и не получил ни одной государственной должности, но говорил об этом со смирением: «Милое отечество ни в чем не

упрекнет меня; я всецело был готов служить ему, сохраняя достоинство своего характера, за которое ему же обязан отвечать; и что же? Я мог описать одни только варварские времена его истории; меня не видали ни на поле сражения, ни в советах государственных; зная однако, что я не трус и не ленивец, говорю самому себе: «Так было угодно Богу»; и не имея смешной авторской спеси, вхожу в общество наших генералов и наших министров».

Входя в общество этих «генералов и министров», он оставался частным лицом. Вполне вероятно, что императору не хотелось видеть Карамзина на любой государственной должности — его образ мыслей мог оказаться опасным. О неприятных для себя выводах «Записки» и столь же неприятных предсказаниях возможного хода истории Александр старался не думать.

Однако то, во что не хотел верить Александр, случилось: в 1812 году началась война с Наполеоном. Долгая, тяжелая, кровопролитная. Но для Карамзина она стала только причиной еще больше углубиться в труды по написанию многотомной «Истории». Москву он покинул одним из последних — уже подступали французы. С собой много увезти не удалось, так что вся библиотека осталась в его доме. Там она и сгорела во время московского пожара. Когда спустя год

Карамзин вернулся, Москву он не узнал: всюду были следы пожара, а жители стали озлобленными, жестокими и дерзкими, прежде в москвичах такого историк не замечал.

Тогда-то и стали еще теснее связи Карамзина с царствующей семьей. Между ним и императрицей завязалась переписка. Императрица звала его в Петербург, даже предлагала поселиться в Павловске. Впрочем, к этому Карамзин был пока не готов: он не мог бросить своей «Истории». К великому счастью, война пощадила Остафьево, где было его имение. Там хранились нужные ему книги и рукописи. В столицу он приехал только в 1816 году. С собой он привез восемь томов своего эпохального труда.

Предваряя первый том своей «Истории», автор поместил в нем обращение к Александру. «С благоговением представляю вашему императорскому величеству, — писал он царю, — плод усердных, двенадцатилетних трудов (шел 1816 год). Не хвалюся ревностью и постоянством: ободренный вами, мог ли я не иметь их? В 1811 году, в счастливейшие, незабвенные минуты жизни моей, читал я вам, Государь, некоторые главы сей истории — об ужасах Батыева нашествия, о подвиге героя — Дмитрия Донского, — в то время, когда густая туча бедствий висела над Европою, угрожая и нашему любезному отечеству. Вы

слушали с восхитительным для меня вниманием; сравнивали давно минувшее с настоящим, и не завидовали славным опасностям Дмитрия, ибо предвидели для себя еще славнейшие. Великодушное предчувствие исполнилось: туча грянула над Россиею — но мы спасены, прославлены; враг истреблен, Европа свободна, и глава Александра сияет в лучезарном венце бессмертия.

Государь! Если счастье вашего добродетельного сердца равно вашей славе, то вы счастливее всех земнородных. Новая эпоха наступила. Будущее известно единому Богу; но мы, судя по вероятностям разума, ожидаем мира твердого, столь вожделенного для народов и венценосцев, которые хотят властвовать для пользы людей, для успехов нравственности, добродетели, наук, искусств гражданских, благосостояния государственного и частного. Победою устранив препятствия в сем истинно царском деле, даровав золотую тишину нам и Европе, чего вы, Государь, не совершите в крепости мужества, в течение жизни долговременной, обещаемой вам и законом природы и теплою молитвой подданных! Бодрствуйте, монарх возлюбленный!

Сердцеведец читает мысли, История предаёт деяния великодушных царей, и в самое отдаленное потомство вселяет любовь к их священной памяти.

Примите милостиво книгу, служащую тому доказательством. История народа принадлежит царю. Всемилоостивейший государь! Его императорского величества верноподданный Николай Карамзин».

Мог ли Александр устоять перед такой искренностью и верой, что именно ему, наследнику русского престола, даровано совершить великие дела? Александр и сам верил в великие дела. Он выделил на издание первых томов «Истории» 60 тысяч рублей. Это были большие деньги. Но что гораздо важнее — Александр отнесся к историку ласково и просил его быть искренним и высказывать свое мнение, хотя бы оно могло и не понравиться (как оно может не понравиться, историк на себе уже испытал — после подачи своей «Записки» он ожидал либо опалы, либо ареста). Александр назначил себя цензором карамзинской «Истории». Цензором он старался быть милосердным.

В то же время Карамзин следовал просьбе царя и высказывал свои мнения, иногда весьма нелицеприятные. Как-то он записал такие слова: «Я всегда был чистосердечен, Он был терпелив, притом любезен неизъяснимо, не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им большею частью не следовал».

Впрочем, к другим просьбам историка царь

прислушивался: вольнодумцев после войны стало немало, и Карамзин то и дело просил то за одного, то за другого диссидента. Одним из них, как я уже говорила, был и племянник старинного друга Карамзина, Василия Пушкина, молодой и горячий Саша. Многим это заступничество спасло жизнь. Александр выслушивал Карамзина и смягчал наказание.

Люди, знавшие Карамзина в эти годы, вспоминали, какую симпатию вызывал этот искренний и честный человек. Фаддей Булгарин, тогда совсем молодой литератор, рассказывал о своей встрече с Карамзиным: «В 1819 году, в зимние вечера собирались к одному содержателю пансиона в Петербурге (французскому дворянину) любители словесности, из находившихся в то время в столице французских путешественников, чиновников и нескольких дам и мужчин из высшего класса русского общества.... Однажды хозяин объявил нам, что в будущее заседание один известный русский чтец будет декламировать сцены из Мольеровой комедии и что несколько отличных русских литераторов посетят нашу беседу. Я тогда только что возвратился из долговременного странствия по Европе и не знал в лицо ни одного русского литератора.»

Будущий доносчик и тайный сотрудник охранки в те годы только начинал литературный

путь. На чтение из Мольера он явился первым. Но никаких прославленных литераторов почему-то на чтение не пришло. Фаддей Венедиктович обиделся и уселся где-то в углу, размышляя о различии известности в свете и литературе. Началось чтение. «Вдруг дверь в зале потихоньку отворяется и входит человек, высокого роста, немолодых лет и прекрасной наружности. Он так тихо вошел, что нимало не расстроил чтения, и, пробираясь за рядом кресел, присел в самом конце полукруга. Орденская звезда блестела на темном фраке и еще более возвышала его скромность. Другой вошел бы с шумом и шарканьем, чтоб обратить на себя внимание и получить почетное место. Незнакомец никого не обеспокоил.

Я смотрел на него с любопытством и участием. Черты его лица казались мне знакомыми, но я не мог вспомнить, где и когда видел его. Лицо его было продолговатое; чело высокое, открытое, нос правильный, римский. Рот и уста имели какую-то особенную приятность и, так сказать, дышали добродушием. Глаза небольшие, несколько сжатые, но прекрасного разреза, блестели умом и живостью. Вполовину поседелые волосы зачесаны были с боков на верх головы. Физиономия его выражала явственно душевную простоту и глубокую пронизательность ума. Отличительными чертами его лица были две большие морщины при

окончании щек, по обеим сторонам рта. Я, по невольному влечению, искал его взгляда, который, казалось, говорил душе что-то сладостное, утешительное.

На его одушевленной физиономии живо отражались все впечатления, производимые чтением. Ни одно острое слово, ни одна счастливая мысль, ни одна удачная черта характера не ускользнули от его внимания. Неудовольствие изображалось на лице, как облако в чистой воде, когда чтец дошел до некоторых плоскостей, встречающихся в комедиях Мольера, жертвовавшего иногда вкусу своего современного партера. Я не сводил глаз с незнакомца и размерял по его ощущениям мои собственные.»

Как оказалось, этот скромный и мягкий человек — историк Карамзин. Позже, познакомившись и получив приглашение бывать в доме, Булгарин с удивлением отмечал, что на чай к Карамзину приходило множество людей самого разного статуса, и тот со всеми умел найти общий язык, ко всем был предельно внимателен и доброжелателен: «В обращении его не видно было, чтобы он отдавал кому-либо преимущество насчет другого. Добродушная его вежливость разливалась равно на всех. Он говорил со всяким одним тоном и слушал каждого с одинаким вниманием. Люди сближались между собою Карамзиным. Все

преимущества нисходили или возвышались на одинакую степень в его присутствии. Он был душою и располагал движениями членов своего общества.

Первое мое посещение продолжалось два часа. Я не мог решиться оставить беседу. Мне так было хорошо и весело. Ум и сердце беспрестанно имели новые, легкие, приятные занятия. Я хотел, по модному обычаю, выйти из комнаты, не простясь с хозяином, но Карамзин не допустил меня до этого. Он встал с своего места, подошел ко мне, пожал руку (по-английски) и пригласил посещать его. Я видел почти всех знаменитых ученых и литераторов на твердой земле Европы, во время моего странствия, но признаюсь, что весьма немногие из них произвели во мне такое впечатление при первой встрече, как Карамзин, и это оттого, что весьма немногие люди имеют такое добродушие в обращении, такую простоту в приемах, какие имел Карамзин, что он при обширных сведениях знал искусство беседовать, и наконец, что в каждом его слове видна была душа добрая, благородная. Вот магнит сердец!»

Однако молодой Булгарин и не предполагал, что этот «магнит сердец» совершает какие-то странные и необычные для человека его звания поступки. Вскоре после визита «на чай» Булгарин встретил историка рано утром на одной из

отдаленных и бедных улиц. «Погода была самая несносная: мокрый снег падал комками и ударял в лицо. Оттепель испортила зимний путь. Один только процесс или другая какая беда могли выгнать человека из дому в эту пору. Я думал, что Карамзин меня не узнает, ибо он два раза только видел меня, и то вечером. Но он узнал меня. Я изъявил ему мое удивление, что встречаю его в такое время.

— Я имею обыкновение, — сказал Карамзин, — прогуливаться пешком поутру до 9-ти часов. В эту пору я возвращаюсь домой, к завтраку. Если я здоров, то дурная погода не мешает мне; напротив того, после такой прогулки лучше чувствуешь приятность теплого кабинета.

— Но должно сознаться, — возразил я, — что вы выбираете не лучшие улицы в городе для своей прогулки.

— Необыкновенный случай завел меня сюда, — отвечал Карамзин, — чтобы не показаться вам слишком скрытным, я должен сказать, что отыскиваю одного бедного человека, который часто останавливает меня на улице, называет себя чиновником и просит подаянья именем голодных детей. Я взял его адрес и хочу посмотреть, что могу для него сделать.

Я взялся сопутствовать Карамзину. Мы отыскивали квартиру бедного человека, но не застали

его дома. Семейство его в самом деле было в жалком положении. Карамзин дал денег старухе и расспросил ее о некоторых обстоятельствах жизни отца семейства. Выходя из ворот, мы встретили его, но в таком виде, который тотчас объяснил нам загадку его бедности. Карамзин не хотел обременять его упреками: он покачал только головою и прошел мимо.

— Досадно, — сказал Карамзин, улыбаясь, — что мои деньги не попадали туда, куда я назначал их. Но я сам виноват; мне надлежало бы прежде осведомиться об его положении. Теперь буду умнее и не дам денег ему в руки, а в дом».

Таков был Карамзин — обходительный и добрый хозяин, больше всего боявшийся обидеть кого-то из гостей и сострадательный человек, не на словах, а на деле оказывавший материальную помощь неимущим.

Впрочем, об этой своей особой черте — невозможности пройти мимо чужого страдания — историк старался умалчивать. Добрые дела, по его пониманию, должны делаться тайно. А ведь в год знакомства с Булгариным Карамзин был уже в зените своей славы. И какой славы!

В январе 1818 года первые восемь томов «Истории» наконец-то были отпечатаны. Пушкин оставил такие воспоминания: «Это было в феврале

1818 года. Первые восемь томов «Русской истории» Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постели с жадностью и со вниманием. Появление сей книги (так и быть надлежало) наделало много шума и произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили».

В том же 1818 году Карамзина приняли в члены Академии Наук. В речи, которую историк произнес на этом заседании, он так обозначил задачу, которая стоит перед литератором, взявшимся описать события родной истории: «Будучи источником душевных удовольствий для человека, словесность возвышает и нравственное достоинство государств. Великие тени Паскалей, Боссюэтов, Фенелонов, Расинов спасали знаменитость их отечества и в самые ужасные времена его мятежей народных. Если бы греки, если бы самые римляне только побеждали, мы не произносили бы их имени с таким уважением, с такою любовью; но мы пленялись «Илиадою» и «Энеидою», вместе с афинянами слушали

Демосфена, с римлянами — Цицерона. Побеждали и моголы: Тамерланы затмили бы Фемистоклов и Цесарей; но моголы только убивали, а греки и римляне питают душу самого отдаленного потомства вечными красотами своих творений. Для того ли образуются, для того ли возносятся державы на земном шаре, чтобы единственно изумлять нас грозным колоссом силы и его звучным падением; чтобы одна, низвергая другую, чрез несколько веков обширную своею могилую служила вместо подножия новой державе, которая в чреду свою падет неминуемо? Нет! И жизнь наша и жизнь империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой; здесь все для души, все для ума и чувства; все бессмертие в их успехах! Сия мысль, среди гробов и тления, утешает нас каким-то великим утешением: возвеличенная, утвержденная победами, да сияет Россия всеми блестящими дарами ума бессмертного; да умножает богатства наук и словесности; да слава России будет славою человечества — и да исполнится таким образом желание Екатерины Второй и Александра Первого!»

Иными словами, «История» должна была послужить неким воспитательным средством для молодых умов, ищущих ориентиров в бурном море событий. Академики речь выслушали, но на первые

тома «Истории» их отзывы были большей частью негативные. Они увидели в в ней литературу, далекую от науки. Некоторые рецензии были совершенно разгромными.

Арцыбашев яростно нападал на Карамзина как раз за то, что тот в угоду литературе искажает историю, Лелевель упрекал историка за то, что тот вкладывает понятия и мысли своего времени в уста людей далекого прошлого, Полевой считал, что язык Карамзина и его стиль изложения давно устарел, а Погодин находил массу несообразностей и противоречий. При всем этом «Историей» зачитывались! Продолжения истории ждали!

И Карамзин оправдал ожидания своих читателей. Он переработал огромное количество совершенно сырого материала, архивных документов и рукописных текстов, доведя свое повествование до относительно недалекого времени — начала правящей династии Романовых. Самым страшным и тяжелым был для него девятый том. Именно из-за страха, что царь вдруг передумает и наложит запрет на его печать, Карамзин представил Александру первые восемь томов, в которых особую крамолу найти было сложно. Александр, первый читатель Карамзина, крамолы и не нашел. Но девятый том! После ошеломляющего успеха первых восьми запретить его издание было уже невозможно.

Девятый том был посвящен Ивану Грозному, той страшной русской истории, когда самодержец является собой не благо, а зло. Карамзину пришлось объяснять, что ужасное царствование Грозного — это пример того, как не нужно управлять государством. И такие отрицательные примеры столь же необходимы, как и положительные. И цензура вынуждена была пропустить в печать эту книгу, где о московском монархе рассказаны ужасающие истории.

С девятого тома крови и злодеяний было описано еще немало, ведь за царствованием Ивана Грозного следовали короткие правления Федора Иоанновича, Бориса Годунова, Лжедмитрия Первого, Второго, князя Василия Шуйского. Но девятый том был так страшен, что у Карамзина возникло немало врагов, обвинявших его в клевете на русского самодержца. От Александра даже требовали срочно принять меры и сжечь писания Карамзина. Но император не только не внял упрекам сверхчувствительных граждан, но и ободрил историка на дальнейшие труды. По сути, потомок другой правящей династии, он не видел особой крамолы в том, что и среди царей могут оказаться тираны и люди с нездоровой психикой. Многостраничный рассказ о времени Ивана Грозного, может быть, его и покоробил, но накладывать запрет на его издание он считал

бессмысленным.

Зато девятый том стал особым томом для подрастающего поколения революционеров. По нему они учились ненавидеть царскую власть. Если по выходе первых восьми томов шаловливый Пушкин разразился такой эпиграммой:

*В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого
пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута, —*

то после девятого тома тот же Пушкин резко изменил мнение и называл карамзинскую «Историю» подвигом честного человека.

Работа над «Историей» была долгой, утомительной, но она захватила Карамзина целиком. Даже отвлекаясь на разговоры или какие-то бытовые дела, он продолжал держать события в голове, не в силах остановить мысли. Видавшийся с ним в Петербурге Сербинович рассказывал, что труд этот шел часто по вдохновению — Карамзин записывал текст целыми страницами, но ему приходилось вести много подготовительной работы, сверять рукописные источники, делать немало выписок, отбирать то, что должно войти в книгу, а что окажется в

примечаниях. «Черновые листы «Истории» в первоначальном их виде, — писал Сербинович, — подвергались большим переделкам или перемеркам; целые строки бывали перечеркиваемы и заменяемы новыми строками; даже случалось видеть, что и между этих строк вставлены были другие слова и выражения вместо зачеркнутых, в такой степени, что только глаз, привычный к его почерку, может надлежащим образом разобрать и прочесть все. А между тем он никогда не упускал означать *в строках меж скобками* название сокращенное источника с указанием страниц. Все такие места непременно требовали собственноручной его переписки; затем являлись и перебеленные им целые главы, с указанием уже на полях книг и страниц, откуда взяты события).

Сам Карамзин в начале своей «Истории» указал, какого рода материалами (кроме сочинений современных авторов) пользовался: это летописи («Повесть временных лет» в разных списках, Ипатьевский, Хлебниковский, Кенигсбергский, Ростовский, Воскресенский, Львовский, Архивский, Никоновский летописные своды), Степенная книга, сочиненная в царствование Иоанна Грозного, «Хронографы, или Всеобщая история по византийским летописям», жития святых в патерике, в прологах, в минеях, в особенных рукописях, старинные деписания, разрядные

книги, родословные книги, письменные каталоги митрополитов и епископов, послания святителей к князьям, духовенству и мирянам, грамоты и душевные записи, статейные списки, иностранные хроники (византийские, скандинавские, немецкие, венгерские, польские) и записки путешественников, посещавших Русь или Московское царство, государственные бумаги иностранных архивов, а также предметы материальной культуры и фольклорные тексты.

В примечаниях к первому тому он пространно поясняет значимость каждого из таких источников. Подобная работа требовала не только усердия и кропотливости, но и специальных знаний, которыми ему пришлось овладеть, — так, он освоил палеографию, сфрагистику и прочие вспомогательные дисциплины, которые позволяли работать с таким обилием древнего наследия. К этой части своих занятий никого он, конечно, не подпускал. Разве что по его просьбе делались переводы с древних иноязычных текстов.

Но всю основную работу делал он сам. Как рассказывает Сербинович, «в семействе он читал только некоторые интереснейшие места супруге, с которой, как сам говорит, жил в одну мысль, в одно чувство. Окончательно она же переписывала если не все, то очень многие главы «Истории»: эту обязанность впоследствии стала разделять с ней

старшая дочь его Софья Николаевна, а потом уже и Екатерина Николаевна. Таким образом переписанное подносилось и государю. Из московской жизни Николая Михайловича я знаю от Екатерины Андреевны, что, когда он занимался «Историєю» и жил еще в доме своего тестя, все утро было посвящено этой работе; что даже он не обедал с семейством, а приносили ему кушать в кабинет, где после умеренной своей трапезы он отдохнет, бывало, на короткое время и опять возвращается к труду, и только с наступлением вечера проводит время уже исключительно в семействе с близкими родными и знакомыми.

В Петербурге он вставал в 9 часу утра и всякий день в 10 часу делал довольно большую прогулку: здесь не мешает прибавить, что он всегда с самого начала дня был совершенно одет и не надевал шлафрока иначе как уже к ночи, ложась спать. Когда он жил в доме Екатерины Федоровны Муравьевой у Аничкова мосту и потом на Моховой в доме Межуева, то гулял обыкновенно по Фонтанке до Прачечного моста, иногда и по Дворцовой набережной и по Невскому проспекту; когда ж погода не позволяла, прогулка ограничивалась Невским проспектом. Большею частью он гулял один, иногда ж случалось видеть его с одною из дочерей. Помню, что зимою он был в темно-зеленой бекеше с бобровым воротником, в

теплых темного цвета перчатках и с тростью в руке.

Возвратясь домой, Николай Михайлович садился за работу свою и занимался ею без отдыха до самого обеда, то есть до 5 часов. Случалось, однако ж, что постоянное занятие его было прерываемо визитами лиц, которым он не мог отказывать. С другой стороны, хотя и очень редко, необходимость требовала, чтобы перед обедом он сам сделал кому-либо посещение. Эти исключения были всегда ему очень тягостны.

После обеда он обыкновенно отдыхал с полчаса или с четверть часа на диване в полулежачем положении. «Мне только нужно немного забыться, чтобы освежить себя», — говаривал он. После короткого сна следующее время у него назначено было для чтения полученных в тот день русских, французских и немецких газет, а также и журналов, какие ему доставлялись.

Затем он приходил в гостиную, где семейство и добрые знакомые ожидали его. Тут приезжали друзья, ученые, литераторы и люди государственные или те молодые таланты, которым суждено было впоследствии занять важнейшие государственные места. Разговор шел обо всех предметах, которые могли интересовать русского гражданина и образованного человека... Ложился спать обыкновенно в 12 часу, но приятная беседа с

друзьями длилась иногда и далеко за полночь..

Николай Михайлович работал сам, не диктуя никому. Во время последней его болезни, с января по май 1826 года, когда бывало ему легче и он говорил, что у него в голове много роится мыслей, много приходит соображений о предметах политических, нравственных, литературных, ему предлагали диктовать кому-нибудь, но он отвечал: «Нет, к этому я не привык, и когда передам бумаге мои мысли, то не иначе как с пером в руке». Он и перебеливал сам. Окончательно (как уже сказано) переписывали набело Екатерина Андреевна и старшие дочери, а в последние годы А. И. Тургенев присылал ему писцов из Канцелярии, которые занимались у него в кабинете переписыванием одних примечаний и уже считали себя счастливыми.

Сотрудников для «Истории» он не имел, а пользовался выписками и переводами разных документов и отрывков, присылаемыми от государственного канцлера графа Румянцева, от директора Императорской Публичной библиотеки Оленина, от А. Ф. Малиновского, Бантыш-Каменского, Калайдовича и многих других».

Так что без всякой снисходительности можно сказать, что работа была каторжная. Но он ее жаждал. Он в ней нуждался. Без нее терялся смысл

его существования.

Первые книги еще при жизни историка были переведены на европейские языки. Последний, двенадцатый том изданным он так и не увидел. Не увидел этого тома и император. 1 сентября 1825 года Карамзин простился с отъезжавшим в Таганрог Александром. «Вы не можете более ничего откладывать и должны еще столько сделать, чтобы конец вашего царствования был достоин его прекрасного начала», — сказал он императору, Александр обнял историка, на том и расстались.

Карамзин вновь погрузился в работу. Он никуда не выезжал, даже не посещал Гатчину, чтобы встретиться с императрицей. «Работа сделалась для меня опять сладка: знаешь ли, что я с слезами чувствую признательность к небу за свое историческое дело? Знаю, что и как пишу; в своем тихом восторге не думаю ни о современниках, ни о потомстве: я независим и наслаждаюсь только своим трудом, любовью к отечеству и человечеству. Пусть никто не будет читать моей «Истории»: она есть, и довольно для меня», — писал он Дмитриеву.

Но это счастье от занятия любимым делом вдруг резко и трагично оборвалось. Из Таганрога пришло известие о неожиданной смерти Александра. События стали развиваться

стремительно и ужасно. 14 декабря началось восстание. Историк надел парадный придворный мундир и отправился на Сенатскую площадь, то ли надеясь остановить кровопролитие, то ли хотя бы запечатлеть событие в памяти.

Его осмысленная жизнь началась с французского Конвента, конец его жизни совпал с восстанием декабристов. К этому времени Карамзин равно разочаровался как в способностях аристократии создать нормальное государственное устройство, так и в возможностях молодого дворянского поколения изменить строй по примеру республиканскому. «Аристократы, сервилисты хотят старого порядка, ибо он для них выгоден. Демократы, либералисты хотят нового беспорядка — ибо надеются воспользоваться им для своих личных выгод», — к такому выводу он пришел. Первые хотят править «палицей», то есть принуждением и устрашительными мерами, вторые — на словах говорят о всеобщем счастье, но «есть ли счастье там, где есть смерть, болезни, пороки, страсти»?

С сенатскими бунтарями Карамзин был хорошо знаком. Многих он любил и уважал, но не принимал их методов, при помощи которых они желали достичь этого всеобщего благоденствия. В торжество общечеловеческой утопии он и вовсе не верил: «Основание гражданских обществ

неизменно: можете низ поставить наверху, но будет всегда низ и верх, воля и неволя, богатство и бедность, удовольствие и страдание». Сенатское восстание представлялось ему бессмыслицей.

Сербинович говорил об этом событии так: «С кротостию нрава, с миролюбием, с полным к каждому доброжелательством, с уважением к заслугам и старшинству, Николай Михайлович соединял постоянство в чувствах родства и дружбе и великую твердость духа в опасностях как физических, так и нравственных: известно, что в 14 день декабря 1825 г., желая собственными глазами удостовериться, где государь, чтобы потом успокоить императрицу Марию, он вышел из дворца на Адмиралтейскую площадь, искал его глазами, принужден был вмешаться в толпу народа и лично подвергался оскорблениям людей или злонамеренных или обманутых злонамеренными, которых старался образумить. Здесь-то он, будучи по-тогдашнему в чулках и башмаках, получил ту простуду, которая расстроила окончательно его здоровье. Любя государя всей душою, он никогда не боялся подвергнуться явной немилости его, высказывая правду так, как был убежден относительно пользы России. Он никогда не скрывал своего образа мыслей, не заботясь о людских пересудах, хотя и знал, что люди иных убеждений составят об нем превратное мнение. И

действительно были такие, которые, даже по издании «Истории государства Российского», старались выставлять его как преданного новизнам вредного либерализма (особенно после появления IX тома); были другие, особенно из нового поколения, которые сильно восставали против него за приверженность к самодержавию».

«Любя государя»? Александра — да, но только не Николая. Выгнать не слишком здорового уже человека на пронизывающий холод, который был в тот роковой день, могла лишь забота об императрице (она волновалась за Николая Павловича) и надежда, что все еще можно остановить, исправить, обратиться к благу.

Из похода на Сенатскую площадь ничего не получилось. Рассказывали, что он подходил к восставшим и умолял их разойтись, чтобы не проливать невинной крови. «Видел ужасные лица, слышал ужасные слова, камней пять-шесть упало к моим ногам», — записал историк для себя. Остановить восставших он не мог. Ответственность за этот бунт молодых дворян он мучительно ощущал: это поколение выросло из его читателей. На его «Историю» как источник идей, породивших восстание, декабристы ссылались потом на допросах.

Самому Карамзину посещение Сенатской площади стоило жизни. Погода была скверная,

историк был без шляпы, его длинные седые волосы развевались на ветру, долгое время он пытался уговорить то одного, то другого, охрип, простудился и тяжело заболел. Простуда усугубилась еще и невыносимым чувством вины: он должен был спасти этих юношей, остановить их, но не нашел нужных слов.

Карамзин через силу поехал к Николаю, умоляя пощадить восставших. Но найти общего языка с новым царем тоже не сумел. Тот предпочитал аресты, допросы и наказания. Историк и до этого уже чувствовал себя подавленно, смерть Александра оказалась для него тяжелым ударом. А теперь рушилась надежда, что самодержавие способно вести процветающую страну в будущее. Дворяне, которых он считал опорой самодержавия, жаждали не самодержавия, а конституции.

Переживания, болезнь, тяжелые размышления — все это надолго лишило его сил. Писать он больше не мог. Жить, кажется, тоже. Вот если бы уехать, как в юности, куда-нибудь далеко, может быть, в Италию, залечить душевные раны и телесные недуги на вольном средиземноморском воздухе... Непривыкший вести праздную жизнь, он даже стал просить у Николая места во флорентийской дипломатической миссии, по слухам, там как раз образовалась вакансия.

К чести Николая Павловича стоит сказать, тот

возмутился этим искательством Карамзина и велел готовить корабль, чтобы отвезти больного историка и полностью оплатить все его расходы. Даже послал к больному Карамзину его друга и тоже придворного человека поэта Жуковского, чтобы тот напомнил историку о немеркнущей славе и корабле, который ждет часа, дабы отвезти его в Италию.

Карамзин вроде бы обрадовался, но вместо того, чтобы строить планы о средиземноморском отдыхе, стал просить за Пушкина — пусть Жуковский похлопочет и передаст Николаю его пожелание: нужно бы отпустить поэта из деревенской ссылки. Просьбу эту Николай выполнил: Пушкину разрешили вернуться в столицу. Но ни денег на поездку, ни корабля — ничего этого историку уже не потребовалось. Карамзин не дожил до начала серого северного лета. Он умер в мае 1826 года. А вскоре в Петропавловской крепости были повешены пятеро организаторов сенатского восстания. Остальные отправились этапом в Сибирь. Просить за этих несчастных было уже некому. И не у кого. Николай Павлович мог выделить для Карамзина фрегат, мог отпустить из ссылки несносного Пушкина, но посягнувших на самодержавную власть никогда бы не помиловал.

Уже после смерти Карамзина был издан

последний, двенадцатый том, собранный по его рукописям и заметкам. С этого времени «История» периодически переиздавалась. Сторонники и противники вроде бы притихли и примирились. Но спустя еще пару лет благодаря усилиям Погодина, который прежде искал в трудах Карамзина только несообразности, возникло почвенническое русское направление. Оно подняло труды Карамзина как штандарт. От многого, что проповедовали эти историки, Карамзин, наверное, открестился бы. Он видел в самодержавии благо, но в то же время вовсе не считал русских каким-то избранным народом-миссионером. Своих современников он пытался убедить, что русские не хуже немцев, французов и англичан, но никогда бы ему в голову не пришло, что они — лучше! Последователи же как раз считали, что лучше. И для вящей убедительности шпарили цитатами из Карамзина.

Такой странной оказалась судьба его «Истории», что спор между сторонниками и противниками длится и до сих пор. И в наши дни Карамзина пытаются читать, выискивая кто необходимость реставрации монархии, кто особую миссию русского человека, кто принудительное введение православия — сколько одержимых собственными идеями читателей, столько и Карамзиных. Каждый изымает из него то, что ему кажется наиболее созвучным собственным теориям.

Своего вывода о том, что такое «История» Карамзина, я делать не стану. Лучше приведу слова критика XIX века Виссариона Белинского, который, при всей своей революционной направленности и ядовитом языке, предпочел не растоптать эту первую русскую «Историю» для русской же публики, а защитить от нападков.

«Карамзин воздвигнул своему имени прочный памятник «Историю государства Российского», хотя и успел довести ее только до избрания на царство дома Романовых. Как всякий важный подвиг ума и деятельности, исторический труд Карамзина приобрел себе и безусловных, восторженных хвалителей, и безусловных порицателей. Разумеется, те и другие равно далеки от истины, которая в середине. Для Карамзина уже настало потомство, которое, будучи чуждо личных пристрастий, судит ближе к истине. Главная заслуга Карамзина как историка России состоит совсем не в том, что он написал истинную историю России, а в том, что он создал *возможность в будущем истинной истории России*. Были и до Карамзина опыты написать историю, но тем не менее для русских история их отечества оставалась тайною, о которой так или сяк толковали одни ученые и литераторы. Карамзин открыл целому обществу русскому, что у него есть отечество, которое имеет историю, и что история его отечества должна быть

для него интересна, и знание ее не только полезно, но и необходимо. Подвиг великий! И Карамзин совершил его не столько в качестве исторического, сколько в качестве превосходного беллетрического таланта. В его живом и искусном *литературном* рассказе вся Русь прочла историю своего отечества и в первый раз получила о ней понятие. С той только минуты сделались возможными и изучение русской истории, и ученая разработка ее материалов; ибо только с той минуты русская история сделалась живым и всеобщим интересом.

Повторяем: великое это дело совершил Карамзин преимущественно своим превосходным беллетрическим талантом. Карамзин вполне обладал редкою в его время способностью говорить с обществом языком общества, а не книги. Бывшие до него историки России не были известны России, потому что прочесть их историю могло только одно испытанное школьное терпение. Они были плохи, но их не бранили.

История Карамзина, напротив, возбудила против себя жестокую полемику. Эта полемика особенно устремляется на собственно историческую, или фактическую, часть труда Карамзина. Большая часть указаний критиков дельна и справедлива; но укоризненный тон их делает вреда больше самим критикам, нежели Карамзину. Труд его должно рассматривать не

безусловно, а принимая в соображение разные временные обстоятельства.

Карамзин, воздвигая здание своей истории, был не только зодчим, но и каменщиком, подобно Аристотелю Фиоравенти, который, воздвигая в Москве Успенский собор, в то же время учил чернорабочих обжигать кирпичи и растворять известь. И потому фактические ошибки в истории Карамзина должно замечать для пользы русской истории, а обвинять его за них не должно. Гораздо важнее разбор его понятий об истории вообще и взгляд его на историю России в частности, равно как и манера его повествовать.

Но и здесь должно брать в соображение временные обстоятельства: Карамзин смотрел на историю в духе своего времени — как на поэму, писанную прозою. Заняв у писателей XVIII века их литературную манеру изложения, он был чужд их критического, отрицающего направления. Поэтому он сомневался как историк только в достоверности некоторых фактов; но нисколько не сомневался в том, что Русь была государством еще при Рюрике, что Новгород был республикою, на манер карфагенской, и что с Иоанна III Россия является государством, столь органическим и исполненным самобытного, богатого внутреннего содержания, что реформа Петра Великого скорее кажется возбуждающею соблезнование, чем восторг,

удивление и благодарность.

И однако ж мы далеки от детского намерения ставить в упрек Карамзину то, что было недостатком его времени. Нет, лучше воздадим благодарность великому человеку за то, что он, дав средства сознать недостатки своего времени, двинул вперед последовавшую за ним эпоху. Если когда-нибудь явится удовлетворительная история России, — этим обязано будет русское общество историческому же труду Карамзина, упрочившему возможность явления истинной истории России. Но и тогда «История» Карамзина не перестанет быть предметом изучения и для историка, и для литератора, и новый историк России не раз сошлется на нее в труде своем... Как памятник языка и понятий известной эпохи, «История» Карамзина будет жить вечно».

Часть первая

Портреты властителей Древней Руси 962-1174

Народы Древней Руси ?-962

Первые сведения о народах, населявших ВосточноЕвропейскую равнину, говорит Карамзин, пришли от греков. В те времена, когда Греция была уже вполне цивилизованной страной, эти народы были еще дикими и погруженными в глубину невежества, никаких исторических памятников они не оставили. Греки проникли через Босфор и Геллеспонт в Черное море и основали фактории на новых для них землях. В глубины земель, лежащих за пределами побережья, греки не совались — там обитали местные и практически неизвестные грекам племена. Гомер в «Одиссее» называет жителей будущей Южной России киммерианами (киммерийцами в современном правописании). Их землю он изображает «покрытой облаками и туманом: ибо солнце не озаряет сей печальной страны, где беспрестанно царствует глубокая ночь».

Карамзин считал, что этот миф о Киммерийских мраках породил название самого

Черного моря. Те же греки выдумали также гиперборейцев — жителей отдаленного Севера, живших за Рифейскими горами «в счастливом спокойствии, в странах мирных и веселых, где бури и страсти неизвестны; где смертные питаются соком цветов и росой, блаженствуют несколько веков и, насытившись жизнью, бросаются в волны морские».

Рифейские горы он почитал за выдуманные и предупреждал, что не стоит их отождествлять с Уральскими. Не стоит, по Карамзину, искать и страну гипербореев, как и их самих, — существование столь удивительного народа в столь удивительной земле он относил к разряду сказок.

Постепенно место мифологии заступила реальность: греки стали путешествовать на север. Гипербореев они там не встретили, но столкнулись со скифами и вытесненными ими западнее германскими племенами. Еще через пару веков они уже различали, кроме скифов, также агафирсов (в Седмиградской области или Трансильвании), невров (в Польше), андрофагов и меланхленов в России (эти были каннибалами и близко знакомиться с ними грекам не хотелось). Восточнее жили сарматы (савроматы), «будины, гелоны (народ греческого происхождения, имевший деревянную крепость), ирки, фиссагеты (славные звероловством), а также бежавшие еще восточнее

от своих соплеменников царские скифы.

Греческие торговые караваны доходили только до Уральских гор. О народах, живущих по ту сторону гор, доходили только легенды — и про людей на полгода выпадающих в спячку, и про исседонов, в землях которых грифы стерегут золото, и про людей с козьими ногами, и про циклопов, но иногда с той стороны гор на равнину выплескивались вполне реальные орды массагетов. Греки их видели и описывали одежду и вооружение. Греки не желали особенно разбираться в этническом составе северных земель: всех, кто жил к северу от Черного моря, они называли скифами, а их землю — Скифией. Греки наладили со скифами контакты, торговали, но попытки просветить этот народ обычно кончались плачевно.

Во времена правления Филиппа, отца Александра Македонского, скифы были разбиты, а на их земли со временем пришли геты и сарматы. Скифской державы, да и самих скифов как народа не осталось — только имя. Их именем греки и римляне продолжали называть новые народы к северу от моря. Но прошло время, и утвердилось новое наименование для жителей этих мест — сарматы. По римской географии, они жили от Германии до Каспийского моря. Римляне считали, что сарматы — единый народ, состоящий из множества племен, но говорящий на одном языке. К

сарматам они причисляли роксоланов, язвигов, аланов, аорсов, сираков и прочих.

В III веке с севера на юг, от Балтийского к Черному морю, стали двигаться готы. Век спустя император Германарих основал государство, простиравшееся от Балтики до Тавриды. Именно ему, по словам хрониста Иордана, удалось покорить балтские племена эстов и герулов и соседствующие с ними племена венедов, которых он считал славянами.

«Во время Плиния и Тацита, — пишет Карамзин, — или в первом столетии, венеды жили близ Вислы и граничили к югу с Дакиею. Птолемей, астроном и географ второго столетия, полагает их на восточных берегах моря Балтийского, сказывая, что оно издревле называлось *Венедским*. Следственно; ежели славяне и венеды составляли один народ, то предки наши были известны и грекам, и римлянам, обитая на юге от моря Балтийского. Из Азии ли они пришли туда и в какое время, не знаем.

Мнение, что сию часть мира должно признавать колыбелию всех народов, кажется вероятным, ибо, согласно с преданиями священными, и все языки европейские, несмотря на их разные изменения, сохраняют в себе некоторое сходство с древними азиатскими; однако ж мы не можем утвердить сей вероятности никакими

действительно историческими свидетельствами и считаем венедов европейцами, когда история находит их в Европе. Сверх того они самыми обыкновенными и нравами отличались от азиатских народов, которые, приходя в нашу часть мира, не знали домов, жили в шатрах или *колесницах* и только на конях сражались: Тацитовы же венеды имели дома, любили ратоборствовать пешие и славилась быстротою своего бега».

В конце IV столетия началось неожиданное переселение гуннов, которое полностью перекроило карту Западной и Восточной Европы. Современники описывали нашествие гуннов как страшную беду. Под ударами воинов Атиллы пал Рим, славянские племена венедов и антов попали под власть гуннов, а южные земли, по Карамзину, обратились в пустыню, где скитались остатки разнообразных племен.

На берега Дуная с востока пришли угры и болгары — там они и осели. Карамзин считал, что движение гуннов заставило сойти со своих мест и многочисленные славянские племена, которые прежде сидели по лесам и были неизвестны римским историкам. Эти племена после исчезновения гуннов расселились как по Западной Европе, так и по Восточной и стали уже племенами известными, они получили общее имя славян.

Карамзин выводил это именование от слова

«слава», якобы славяне были хорошими воинами. «Уже в конце пятого века, — сообщает историк, — летописи Византийские упоминают о славянах, которые в 495 году дружелюбно пропустили чрез свои земли немцев-герулов, разбитых лонгобардами в нынешней Венгрии и бежавших к морю Балтийскому; но только со времен Юстиниановых, с 527 года, утвердись в Северной Дакии, начинают они действовать против империи, вместе с угорскими племенами и братьями своими антами, которые в окрестностях Черного моря граничили с болгарами.

Ни сарматы, ни готфы, ни самые гунны не были для империи ужаснее славян. Иллирия, Фракия, Греция, Херсонес — все страны от залива Ионического до Константинополя были их жертвою; только Хильвуд, смелый Вождь Юстинианов, мог еще с успехом им противоборствовать; но славяне, убив его в сражении за Дунаем, возобновили свои лютые нападения на греческие области, и всякое из оных стоило жизни или свободы бесчисленному множеству людей, так южные берега Дунайские, облитые кровию несчастных жителей, осыпанные пеплом городов и сел, совершенно опустели. Ни легионы римские, почти всегда обращаемые в бегство, ни великая стена Анастасиева, сооруженная для защиты Царяграда от варваров, не

могли удерживать славян, храбрых и жестоких.

Империя с трепетом и стыдом видела знамя Константиново в руках их. Сам Юстиниан, совет верховный и знатнейшие вельможи должны были с оружием стоять на последней ограде столицы, стене Феодосиевой, с ужасом ожидая приступа славян и болгаров ко вратам ее. Один Велисарий, поседевший в доблести, осмелился выйти к ним навстречу, но более казною императорскою, нежели победою, отвратил сию грозную тучу от Константинополя. Они спокойно жительствовавали в империи, как бы в собственной земле своей, уверенные в безопасной переправе чрез Дунай: ибо гепиды, владевшие большею частию северных берегов его, всегда имели для них суда в готовности.

Между тем Юстиниан с гордостью величал себя *Антическим*, или *Славянским*, хотя сие имя напоминало более стыд, нежели славу его оружия против наших диких предков, которые беспрестанно опустошали империю или, заключая иногда дружественные с нею союзы, нанимались служить в ее войсках и способствовали их победам».

Воинственными оказались не только славяне. В середине VI века с востока по Европе прошли орды аваров, подчинив себе огромную территорию от Волги до Эльбы. Византии удалось договориться

с аvaraми и их руками начать подчинение славянских племен, которые очень мешали этой стране спокойно существовать. Аварского хана, подчинившего славянские дунайские племена, именовали — по Карамзину — Баяном.

Осколком древних аваров историк считал кавказских аваров и приводил интереснейший пассаж. Якобы в 1727 году тамошний князек Усмей-Авар сильно захотел дружить с русскими и отправился в стан тогдашнего русского войска. Он всячески заверял русских, что слухи об их победах призывали его поглядеть на таких славных воинов, и припамятовал, что еще его предки в давние времена получили грамоту от русского царя и с его помощью вернули себе княжеское достоинство и земли. Начальник войска, узнав, что эта грамота хранится в семье князька как священная реликвия, решил посмотреть на такую диковину. Каково ж было его удивление, когда князек предъявил документ: это и вправду оказалась грамотка, но выданная ханом Батыем!

Авары в XIII веке уже прочно занимали свою нишу на Кавказе. Но во времена более древние они владели огромной территорией, которую позже потеряли: на Дунае аваров вытеснили угры, которые взяли себе имя аваров — такая вот история. И авары, и угры были народами не менее воинственными, чем славяне.